

В. Ф. О Д О Е В С К И Й

# РОМАНТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ,  
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ  
И РЕДАКЦИЯ  
ОРЕСТА ЦЕХНОВИЦЕР

1 9 2 9

---

П Р И Б О Й Л Е Н И Н Г Р А Д

\*



Владимир Федорович Одоевский.

Примечательнейшим писателем прошлого столетия, пытавшимся перенести на русскую почву универсальные заветы немецкого романтизма, был Владимир Федорович Одоевский.

В западной Европе социальные причины появления романтизма на пороге XIX в. были различны. Здесь, с одной стороны, романтизм являлся выражением настроений и чаяний сбитого со своих позиций феодализма, с другой — пригнетаемой феодально-монархической реакцией или борющейся за свои права и свободы торговой буржуазии. В зависимости от особенности социальных истоков романтизм принимал различные оттенки, носил различный характер. Когда он являлся выражением настроений упадочных классов — вырождающейся аристократии или теснимой новым общественным порядком мелкой буржуазии, романтизм полон мистических устремлений, ухода от мира действительности в мир фантастики, полон религиозного порыва и мечты. Иное мы наблюдаем в том случае, когда романтизм является выразителем бурно поднимающихся революционных классов. Тут он насыщен напряженной действительной силой и пафосом молодости, утверждением реального мира и стремлением охватить его с возможной полнотой. В том случае, если революционно-

поступательное движение этого молодого класса, носителя романтических настроений, наткнулось на непреодолимые сопротивления, оптимистическое, полное надежды и пафоса настроение романтизма срывалось и оно, как и в первом случае, снова приобретало характер уныния, тоски и отчаяния.

Такой пессимистический характер романтизм имел в Германии XVIII в., в противоположность основным настроениям романтизма французского. Обнаженный материализм Франции того же времени являлся открытым объявлением войны церкви, феодальному дворянству и феодальному обществу. Немецкой же буржуазии было еще далеко до уровня развития Франции, ибо способы производства и материальное положение Германии XVIII и начала XIX вв. были отсталыми. Господствующей формой производства являлось мелкое хозяйство в городе и деревне. На его базе существовал как торговый капитал, так и феодальное землевладение. Буржуазное развитие шло медленным темпом и делало малые успехи. В связи с этим низким материальным уровнем, отсутствием гражданской свободы, правовой приниженностью, территориальной раздробленностью, зависимостью от самодержавного монарха и всемогущего полицейского государства передовые умы тогдашней Германии отвернулись от внешнего мира, казавшегося им тягостным, полным произвола, унижения личности и отсутствия свободы. Они создали внутри себя мир идей, они отказались от светлого дня и земной радости, были полны аскетического порыва к надземному. «Прочь! — я смотрю навстречу святой, невыразимой, таинственной ночи. Мир утонул в глубокой могиле, пустынно и одиноко его место!» — писал в своих «Гимнах к ночи», полных томления по смерти, германский романтик Новалис. И вся литература Германии того времени получила характер надземный, призрачный, идеальный. Процветавшее в этой стране масонство приобретает мистический характер. Тайные общества на мистическо-религиозной основе покрывают всю Германию, и большинство передовых представителей немецкого общества (Гете, Лессинг, Гердер и др.) вступают членами в эти организации. Тайные общества находят свое отображение и в литературе. Создаются такие романы, как «Таинственная ложа» Жан Поля и «Духовидец» Шиллера.

Итак, в противоположность французскому рационализму в Германии процветает иррационализм, вместо язвительного скептического смеха мудрого Вольтера, яркого представителя освободительного движения французской буржуазии, одержавшей победу над отжившей феодальной аристократией, мы слышим в Германии полные гносиологического скептицизма высказывания старших романтиков о тщет-

ности человеческого познания. Лишь позже Генрих Гейне, который стоял уже на пороге новой социально-экономической эпохи и предвидел идеалы будущей Германии, выразил настроения этого времени в таких классических словах: «Тогда люди были самоотверженны и скромны; преклонялись перед неведомым, ловили тень поцелуя и запахи цветов фантастики, покорялись судьбе и хныкали». <sup>1</sup>

Причина такого положения вещей заключалась не только в низком уровне богатства, но и в низком уровне буржуазного развития и в экономической слабости нового способа производства. Эта слабость и обуславливала «воздушность» немецкой идеологии. Ее отрыв от реальных интересов и реальной жизни был как раз продуктом убожества этой жизни, — экономической немощности зарождавшейся буржуазии. Возросшее на этой почве литературное направление так же, как и философия, было пассивно и оторвано от жизни и общественной борьбы. Знаменательно, что Бакунин, ездивший в Германию и увлекшийся там современными философскими учениями, вскоре подметил эти черты, о чем и писал императору Николаю I: «Впрочем, сама же Германия излечила меня от преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись ближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики. Я искал в ней жизни, в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделие». <sup>2</sup> И Бакунин в такой позиции не был одинок. В самой Германии эту разочарованность, правда, с иными дальнейшими результатами, пережил ряд младогегельянцев — Берне, Гейне и Фейербах.

Быт Германии того времени в значительной степени напоминает быт России времени Николая I. И там и тут общественная жизнь была проникнута обывательщиной, засильем чиновничества, низкопоклонством, вмешательством государства во все стороны жизни граждан и патриархальной опекой. В деревне же (в Германии, несмотря на реформы Штейна) господствовали крепостнические или полукрепостнические отношения. Опеку над крестьянином осуществлял барин. Методы угнетения и эксплуатации крестьян в этих странах почти целиком совпадали. Неудивительно, что основные настроения немецкой философской и литературной мысли нашли благоприятную почву в России.

Здесь, в первой половине XIX в., мы присутствуем при ломке феодально-крепостнических отношений и вторжении капитализма в жизнь страны. После наполеоновского похода среди части русского дворянства усилились консервативно-националистические тенденции, а со стороны правительства — резко - реакционная политика, ко-

торая к концу царствования Александра I находит свою поддержку в религии и мистике, — в то время как в части наиболее передового дворянства усиливается критическое и оппозиционное настроение, черпавшее свои соки в «свободах» Франции и Англии и просветительской философии прошлого века. Для этих людей «философская революция служила как бы введением к политическому перевороту» (Энгельс). Но неудача декабрьского восстания приостановила на многие годы распространение французской просветительской философии. Последней, как и французским литературным традициям, определявшим русскую литературу XVIII и начала XIX века, неудача декабризма положила предел. С этого времени вольтерьянство было взято под подозрение III Отделения. Германская струя, доселе почти незаметная в русской философии и литературе, получила как бы государственную поддержку. Кроме того, самодержавная расправа с декабристами вызвала громадный испуг у либерального дворянства. Оно с трепетом стало чураться всего, что могло быть правительством заподозрено в якобинстве. Оно было полно стремления замкнуться в усадебный мирок и, боясь ареста, вздрагивало и холодело при звуке бубенчиков на дороге. Снова раскрылись забытые со времен масонства фолианты Сведенборга, Якоба Бема и Пордэга. Дворяне сменили шпаги и пистолеты на магические палочки, занялись столоверчением, магнетизмом, заговорили о ясновидении, спиритизме и хиромантии. Драматизм разыгравшихся после восстания событий — казнь пяти, ссылки в Сибирь, — все как бы содействовало развитию мысли о предрешении, фатализме, разочаровало в действительности мечтаний французских материалистов.

Наконец, успеху романтического идеализма и мистики способствовало и то, что начавшееся при Николае I вступление России в капиталистическую эпоху было задержано тяжелым аграрным кризисом. В это время с Россией произошло в значительной степени то же, что и с Германией после наполеоновского похода. Карл Маркс дал следующую характеристику бессильной и жалкой немецкой буржуазии того времени: «Немецкая буржуазия, ругавшая Наполеона за то, что он заставлял ее пить цикорий и нарушал мир ее страны рекрутским набором и размещением по квартирам, изливала всю свою моральную ненависть на нем и все свое восхищение на Англии; однако Наполеон оказал ей величайшие услуги очисткой немецких авгиевых конюшен и установлением современных путей сообщения. А Англичане только ждали удобного случая эксплуатировать ее вдоль и поперек». <sup>3</sup> Дворянские поместья в России, выведенные лондонской хлебной биржей из натуральной первобытности, вскоре снова попали

в застойную полосу, созданную резким падением хлебных цен на всех европейских рынках. У застигнутого врасплох крепостного помещика не оставалось другого спасения, кроме государственной ссуды и экономического нажима на крестьян. При таких обстоятельствах дух либерализма, разумеется, улетучился. Аграрный кризис делал николаевского дворянина, бывшего вольнодумца, верноподданным и крепостником. М. Покровский так формулирует это настроение: «Восставать против власти, являвшейся единственным кредитором всего дворянского сословия, было бы безумием в такую минуту, когда только кредит — и возможно более дешевый кредит — мог спасти помещичье хозяйство от гибели. Тот же кризис заставил дорожить старыми социальными формами». В результате общественные элементы, уже приготовленные к служению капиталу и буржуазной революции, испытавшие уже азарт революционной борьбы, внезапно оказались оторванными от реальной базы. Таким образом идеологи широких слоев среднего дворянства, по своим духовным убеждениям тесно связанные с декабристами, ощутили себя лишними людьми в государстве.<sup>4</sup>

На этой, как видим, сложной по своему составу почве расцвели литературные традиции романтических мечтаний, полные идеалистических и религиозных порывов. Наравне с романтической французской струей, захватившей ряд русских писателей (на время даже Гоголя и Лермонтова), обозначается в это время другая — немецкая, под влияние которой подпадают Жуковский, Белинский (первого периода), Тургенев (в начале своей литературной деятельности) и старшее поколение славянофилов.

Средоточием ее явились московские кружки 20 — 30 гг., «любомудры», кн. В. Ф. Одоевский, Веневитинов, Киреевские, Шевырев, Погодин, Кошелев, Мельгунов и Кюхельбекер. Здесь изучают немецких романтиков и любимыми их вождями становятся Кант, Гете, Фихте, Шеллинг, Окен и впоследствии Гегель. Эта германская романтическая струя проходит сквозь лирику Тютчева и через Фета и Владимира Соловьева подготавливает наступление символизма начала XX века.<sup>5</sup>

Среди русских апологетов учения Шеллинга мы находим и Одоевского, который в связи с изучением этого философа проникается интересом к самым разнообразным областям знания. В. Ф. Одоевский в себе как бы воплотил романтический идеал универсальной личности. Но решить «задачи жизни» Одоевскому все же не удалось. Он переживает в этом отношении типичную уже для его современников эволюцию, которая в зависимости от иных социальных условий отлична от типичной эволюции германских романтиков.

В то время когда Август Шлегель ушел в эстетику католицизма, Шеллинг стремился на основе религии построить свою положительную философию, Фридрих Шлегель перешел в католицизм, Тик переживал настолько глубокий религиозный кризис, что даже отказывался от поэтической деятельности, — Одоевский идет по другому пути. Наступившая в России новая эпоха выдвигает уже новые задачи, поднимает ряд новых проблем, ждущих своего разрешения. В это время Белинский в своем знаменитом письме к Гоголю (1847 г.) пишет: «Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности, в пробуждении в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязном навозе. Ей нужны права и законы, сообразные с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, выполнение их. А вместо того она представляет собой ужасное зрелище, где люди торгуют людьми, не имея на то и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждающие, что негр не человек. Это страна, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Степками, Палашками; страна, где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромная корпорация различных служебных воров и грабителей. Самые живые национальные вопросы в России теперь — уничтожение крепостного права и отменение телесных наказаний, введение по возможности строгого выполнения тех законов, которые уже есть» . . . Эти новые умонастроения захватывают и Одоевского. Под их влиянием он постепенно совершает переход от любомудрия и философско-мистического идеализма к научному реализму. Этот переход, эти новые настроения находят также свое отображение в его художественных произведениях, ибо вся литературная деятельность Одоевского развивается в тесной связи с эволюцией и содержанием его философского миропонимания.

Следует, однако, указать на то, что литературно-художественная деятельность Одоевского падает преимущественно на время его романтических увлечений. Одоевский остается представителем пушкинской поры русской литературы. Это отмечалось и его современниками. Так, 3 мая 1845 г. старый друг Одоевского, декабрист В. К. Кюхельбекер из своей далекой ссылки писал Владимиру Федоровичу: . . . «тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я завещали все наше лучшее; ты перед потомством и отечеством представитель *нашего времени*, \*) нашего бескорыстного стремления к художест-

---

\*) Курсив мой. (О. Ц.)



венной красоте и к истине безусловной. Будь счастливее нас!»<sup>6</sup> Много лет спустя эти же мысли высказал в письме к Одоевскому Аполлон Григорьев. В 1860 г. он писал Владимиру Федоровичу о том, что князь один из немногих уцелевших литераторов пушкинской эпохи, о том, что сам Григорьев по своим убеждениям и взглядам на общественное развитие и искусство принадлежит гораздо более к пушкинской эпохе, чем к современной, и что он в своих критических статьях выражал искреннее уважение и жаркое сочувствие к глубокому и уединенно стоящему таланту князя.<sup>7</sup> Лучшие и интереснейшие образцы этой литературной деятельности мы и предлагаем вниманию читателей в данной книге.

Выбранные нами произведения Одоевского исключительно оригинальны по своей композиции, полны проникновенного знания человека и остро отображают указанные нами выше настроения эпохи: возрастание значения капитала и индустрии, сдачу старым барством своих позиций промышленникам, новую роль разночинца-чиновника и пр. Правда, Одоевский знает жизнь и быт высшего общества более, чем жизнь среднего и низшего. К этому высшему сословию он, аристократ-консерватор, питает и большие симпатии, несмотря на то, что ему были известны грехи большого света. Эта симпатия приводит к тому, что Одоевский является по преимуществу бытописателем этого высшего сословия и лишь попутно касается в своих произведениях иных классов.

Большое место, занимаемое Одоевским в русской литературе прошлого столетия, было признано его современниками. Пушкин высоко ценил его талант и горячо встретил ряд его литературных произведений. «Пушкин весьма дорожил моими произведениями и печатал их с признательностью в Современнике» — признавался сам Одоевский. Восторженную оценку таланта Одоевского Пушкин давал неоднократно. Так, в письме к Одоевскому А. И. Кошелева от 21 февраля 1831 г. последний ему сообщал: «Пушкин весьма доволен твоим Квартетом Бетгоvena. Он говорит, что это не только лучшая из твоих печатных пьес (что бы не много значило), но что едва когда либо читали на русском языке статью столь замечательную и по содержанию и по слогу. Он бесится, что на нее обращают мало внимания. Он находил, что ты в этой пьесе доказал истину весьма для России радостную: а именно, что возникают у нас писатели, которые обещают стать на ряду с прочими европейцами, выражающими мысли нашего века».<sup>8</sup>

Лестную оценку Пушкина заслужила и повесть «Зизи», которую

он называл «славной вещью». <sup>9</sup> Пушкину, с его трезвым мирозерцанием, воспитанным на рационалистической французской литературе XVIII в., были чужды мистические уклоны и мир романтической фантастики, и он всячески направлял Одоевского в сторону реальности и объективности. Пушкину не нравилось и он отклонил от напечатания в «Современнике» такое произведение, как «Сегелиель», и «Княжну Зизи» предпочитал «Сильфиде». В письме к Одоевскому в октябре-ноябре 1836 г. Пушкин писал: «Конечно, Княжна Зизи имеет более истины и занимательности, нежели Сильфида. — Но всякое даяние Ваше благо. Кажется письмо тестя — холодно и слишком незначительно. Зато в других много прелестного. Я заметил одно место знаком (?). — Оно показалось мне не вразумительно. Во всяком случае Сильфиду-ли, Княжну-ли, но оканчивайте и высылайте». <sup>10</sup>

По признанию самого Одоевского, он принял эти замечания Пушкина, и письмо тестя Реженского в Сильфиде было впоследствии переделано. <sup>11</sup>

Высоко расценивал литературные произведения Одоевского и Гоголь, бывший под непосредственным влиянием личности и творчества Одоевского и гораздо более близкий к нему по своей религиозно-мистической настроенности. В письме от 30 ноября 1832 г. Гоголь сообщает И. И. Дмитриеву: «Князь Одоевский скоро порадует нас собранием своих повестей, в роде «Квартета Бетговена», помещенного в «Север[ных] Цветах» на 1831. Их будет около десятка, и те, которые им написаны теперь, еще лучше прежних. Воображения и ума — куча! Это ряд психологических явлений, непостижимых в человеке». <sup>12</sup> Этот восторженный отзыв понятен и потому, что целый ряд сторон творчества Гоголя и Одоевского тесно соприкасаются по общим истокам в немецкой стихии идеализма и фантастики и по общей склонности совмещения этих тенденций с реализмом и сатирой.

Литературное творчество Одоевского не прошло бесследно для русской литературы. Его произведения имели влияние не только на Гоголя, но и на литературное творчество Герцена, Достоевского и др. В ряду многочисленных романтических учителей последнего Одоевский имел особое значение, ибо он был первым создателем в России того жанра, который Бальзак называл *conte philosophique*. Он утвердил в русской литературе форму философского диалога, философской новеллы, сказки и повести. Не случайно Достоевский берет для своего первого произведения «Бедные люди» эпиграф из одной повести Одоевского. <sup>13</sup>

Это значение Одоевского в литературе прошлого столетия отмечалось и современной ему критикой. Белинский неоднократно вы-

сказывал восторженные суждения об его творчестве и отмечал его большое влияние на современную прозу.

Произведения Одоевского читаются людьми его времени с глубоким интересом. Они часто становятся предметом обсуждений, острой полемики и горячих философических споров. Лишь в дальнейшем, с появлением других настроений и интересов в русской общественной жизни, этот интимный писатель отходит в сторону и, наконец, в наше время почти совершенно забывается. По этому поводу А. Потебня заметил: «Если Одоевского не оценили и не ценят теперь, так это потому, что его не понимали и не понимают». \*)

В деле понимания Одоевского, истолкования его как писателя и мыслителя, в наше время сделал чрезвычайно много проф. П. Н. Сакулин своей капитальной работой: «Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский». \*\*) Здесь он с несомненностью доказал, что в истории русской повести Одоевский занимает самостоятельное и видное место, что он шел по одной дороге с Грибоедовым, Пушкиным и Гоголем.

Та задача, которая сейчас стоит перед нами, — дать читателю лучшие и наиболее характерные произведения Одоевского, не устаревшие для нашего времени. Мы уверены, что избранные его повести представляют не только историко-литературный интерес, но и художественный и философский. Многие стороны его творчества не созвучны нашему сознанию, но разве нет этого в произведениях Пушкина, Гоголя, Толстого?

Из лучших повестей Одоевского мы отобрали лишь те, которые, по нашему мнению, могут представить наибольший интерес для современного читателя. Часть рассказов мы взяли из изданного Одоевским в 1844 г. трехтомного собрания его сочинений, \*\*\*) ставшего давно библиографической редкостью, причем несколько повестей извлечено

---

\*) Германия ранее нас оценила достоинства Одоевского как прозаика. В 1924 г. в Drei Masken Verlag в Russische Bibliothek и Russische Novellen вышел том Odojevsky «Magische Novellen».

\*\*) Москва, 1913 г., т. I, ч. I и II.

\*\*\*) В бум. Одоевского в Рос. Пуб. Библиотеке сохранился печатный экземпляр Сочинений, подготовленный ко 2-му изданию. Здесь на вклеенных листах и на полях сделаны Одоевским поправки и дополнения. Они перенесены нами в настоящее издание.

Повести печатаются по новой орфографии, но с сохранением орфографических и синтаксических особенностей автора, характерных для времени их создания.

из «Русских Ночей». Последнее оправдывалось и тем, что повести, включенные в «Русские Ночи», ранее печатались в современных Одоевскому журналах. Сама же форма «Русских Ночей» делает их недоступными для рядового читателя. Часть рассказов, не вошедших в собрание сочинений или впоследствии измененных Одоевским, мы извлекли из современных ему журналов. Наконец, последняя повесть взята нами непосредственно из его бумаг, хранящихся в рукописном отделении Российской Публичной Библиотеки.

Рассказ *Opere del Cavaliere Giambatista Piranesi* печатается нами по тексту альманаха «Северные цветы» на 1832 г.<sup>14</sup> Текст в «Русских Ночах» подвергся сильным изменениям и, должно признаться, не в пользу художественности и яркости рассказа. Мы его поместили первым, ибо тема его непосредственно связана с двумя последующими рассказами, и по плану Одоевского этот рассказ должен был открывать замышленное им произведение «Дом сумасшедших», которое впоследствии было заменено «Русскими Ночами». Этот рассказ повествует о трагедии и крушении универсальной личности, и с этой стороны нельзя не видеть в нем некоторых автобиографических мотивов, которые отметил и Потебня, утверждая, что приговор Одоевского над «Пиранези» есть приговор его над самим собой.

Здесь Одоевский как бы следует за германским романтиком Гофманом, который осудил в своих повестях вдохновенного и несчастного композитора Клейслера, хотя изобразил в этом образе самого себя. Эти же мотивы слышатся и в данной повести Одоевского.

«Последний квартет Бетховена» печатается по тексту «Русских Ночей».<sup>15</sup> Одоевский, согласно основным положениям романтизма, раскрывает в этом рассказе психологическую сущность творческого процесса, \*стремится осмыслить и истолковать биографию творца. С этой стороны «Бетховен» Одоевского становится рядом с «Кавалером Глюком» Гофмана как по своей композиции, так и по основной идее.

Повесть «Себастьян Бах» мы печатаем также по тексту «Русских Ночей» и внесли лишь из текста, напечатанного в «Московском Наблюдателе» на 1835 г., эпиграфы, откинутые Одоевским впоследствии.<sup>16</sup> Этот рассказ — один из наиболее примечательных; Одоевский глубоко изучил творчество Баха и преклонялся перед ним. Немецкий композитор Фитингоф - Шель в одном из своих писем к Одоевскому называет его «Северным Бахом». При всем явном преувеличении этого эпитета в нем есть та правда, что музыка Баха в лице Одоевского нашла своего проникновенного истолкователя и ценителя. Задача, которую преследует в этой повести Одоевский, та же, что и в Бетховене — обрисовать внутреннюю жизнь человека, все-

цело посвятившего себя искусству. Поэтому он в своей повести обращает внимание не столь на внешнюю жизнь Баха, сколь на биографию его таланта. С этой стороны это произведение Одоевского близко к устремлениям современной западно-европейской литературы. Напомним переведенное недавно на русский язык произведение французского писателя Андрэ Моруа — «Меип или Освобождение» (Meire ou la délivrance). \*) Задача, которую преследует Моруа, та же, что преследует и Одоевский. Он стремится показать художественное произведение в момент его зарождения и в процессе созидания стремится раскрыть творческий акт.

В своей повести о Бахе Одоевский высказал и свои личные симпатии и антипатии по отношению к музыке. В образе Баха он символически воплотил строгость вкуса и подлинную художественность, а в образе его жены — итальянки — женственную мягкость — «итальянскую тему, обработанную в немецком стиле». Происходит столкновение двух начал — мужественности и женственной мягкости. Бах, суровый и непреклонный, в глазах которого итальянские канцоны, которые так любит Магдалина, профанация искусства, кончает свою жизнь в одиночестве, без любви и воспоминаний.

Идея этой повести роднит ее также с одним примечательным оперным произведением нашего дня — с «Джонни наигрывает» Кшенека. Последний вскрыл борьбу двух музыкальных и (социальных) начал современной Европы — итальянскую слащавую лирическую и романтическую тенденцию, воплощенную им в образе певца Даниэлло, и полную ритма, упругости, мужественности и чувственности тенденцию негритянской музыки. Романтическая Европа нашего дня в образе Даниэлло гибнет, а Джонни торжествующе шествует по всей Европе. Эта символическая борьба двух начал, правда, в ином разрезе показана Одоевским в повести о Бахе. Одоевский, всю свою жизнь глубоко ценивший Баха, боролся с итальяноманией в русской музыке. Свои настроения он и воплотил в этом произведении.

Рассказ «Imbroglia» (Из записок путешественника) печатается нами по тексту собрания сочинений 1844 г.<sup>17</sup> Этот рассказ, яркий по разворачиванию интриги, характерен для увлечений итальянскими разбойничьими сюжетами в литературе времени Одоевского.

Рассказ «Привидение» также, печатается нами по тексту собрания сочинений.<sup>18</sup> Романтика Одоевского по ранее вскрытым нами социальным причинам притягивала его к миру фантастики,

---

\*) «Библиотека Всемирной Литературы». Ленинград, 1928 г.

к миру таинственных происшествий. Но в этом рассказе видны и реалистические тенденции, свойственные Одоевскому. Рассказ совмещает как бы одно с другим, стоит на перепутьи творческих устремлений писателя. Иронические строки заключения являются как бы раскрытием и опровержением всей предыдущей интриги.

Рассказ «Княжна Мими», взятый из собрания сочинений 1844 г., тесно связан со следующим рассказом — «Княжна Зизи.»<sup>19</sup> Они оба бытоописуют высшее общество. Княжна Мими написана Одоевским в совершенно реалистическом духе и является одним из лучших его бытовых образов. Несмотря на некоторый схематизм психологического анализа, повесть производит сильное впечатление. Литературные достоинства этого рассказа были отмечены и современниками. Белинский дал ей следующую оценку: «Превосходный рассказ, простота и естественность завязки и развязки, выдержанность характеров, знание света — делают «Княжну Мими» одною из лучших русских повестей».<sup>20</sup>

Изображая в Княжне Мими отрицательный тип старой девы, полной сухой чопорности и злобы, Одоевский возлагает главную ответственность не на личность, а на общественную среду. Он негодует на высшее общество, которое суживает внутренний мир девушки, мешает проявиться ее чувствам. Но в то же время он женский вопрос не подымает на высоту социальной проблемы и является проповедником обычных романтических взглядов на воспитание женщин, их освобождение от вековых предрассудков, их участие в культурной жизни.

Впоследствии Одоевский ставит своей задачей рядом с озлобленной сплетницей Мими дать другой тип старой девы — любящей и самоотверженной. Повесть «Княжна Зизи» служит как бы продолжением и антитезой предыдущего рассказа. Эта повесть также одна из лучших во всем творчестве Одоевского. Женский вопрос, затронутый уже в «Княжне Мими», получает здесь новое освещение. Но интерес рассказа сосредоточивается, главным образом, на судьбе и личности Зизи, женщины большой силы духа, трезвый реализм который выгодно отличает ее от других действующих лиц повести.

Сюжет незаконченной Одоевским повести «Катя, или история воспитанницы» (Отрывок из романа), взятый нами из сборника «Новоселье» на 1834 г.,<sup>21</sup> захватывает не только жизнь великосветского общества, но и крепостной интеллигенции. Одоевский показывает здесь одну из повседневных драм, которые происходили в доме помещиков-бар. Либеральный дух повести сближает ее с рядом других произведений

русской литературы XVIII и начала XIX вв., трактовавших крепостные темы. Здесь Одоевский, как и ряд его современников — Погдин, Павлов, Полевой, Ушаков, Тимофеев и др., как бы продолжает традиции барских покаяний, явившихся отголоском глубоких социальных потрясений Европы времени Великой французской революции. В это время русский дворянин-писатель XVIII в. на миг начинает осознавать (до времени сентиментализма) неправоту своего положения, своих привилегий, обеспеченных кровью и потом раба-крестьянина. У Одоевского мы слышим те же мотивы, которые прозвучали в комических операх (Княжнина, Попова), сатирической журналистике (Новиковский «Трутень» и «Живописец»), романах, повестях и путешествиях (Радищев). Но вместе с тем этой повести свойственны аристократические тенденции — идея о несомненном превосходстве высших классов перед людьми низшими. Более значительно трактует поставленные Одоевским вопросы о трагическом положении крепостной интеллигенции не он — аристократ, а сын вольноотпущенного крестьянина, писатель Н. Г. Павлов в повести «Именины» (1835 г.). Но все же нельзя отказать в глубокой художественности, мягкости и лиричности «Кати» Одоевского.

Последним публикуемым нами произведением является утопия Одоевского «4338-й год», впервые опубликованная мною в 1926 г.

Русская литература в прошлом знает мало утопических произведений, а потому это произведение представляет особенный интерес. Время создания его относится к 1837-39 гг. Отрывок из утопии был напечатан в альманахе В. Владиславлева «Утренняя Заря» на 1840 г.,\* а другие отрывки находятся в бумагах Одоевского. Утопия не закончена, несмотря на то, что к ней Одоевский обращался в течение почти всей своей жизни.<sup>22</sup>

«4338-й год» представляет собою третью часть предполагаемой трилогии, в первой части которой Одоевский хотел изобразить эпоху Петра Великого, во второй — современность (время написания утопии, т. е. 30-е годы XIX в., а в третьей — Россию через 4000 лет. Первая часть трилогии, вероятно, совсем не была написана, а вторая и третья написаны под общим заголовком: «Петербургские письма». Впоследствии Одоевский, повидимому, думал уже об утопии как о самостоятельном произведении и подготовил предисловие, прилагае-

---

\*) Владимир Андреевич Владиславлев — литератор и жандармский офицер. Умер в 1856 г. Издавал «Утреннюю Зарю» с 1839 г. 1843 г. Цензурное разрешение альманаха на 1840 г. относится к 14 октября 1839 г.

мое к нашему изданию, но все же утопии не закончил. В связи с этим нам пришлось, дабы восстановить ее в возможно цельном виде, изменить, сравнительно с текстом «Утренней зари», нумерацию писем и вставить два письма из рукописей (первое и шестое в наш. изд.). Кроме того, с этими же целями мы приложили два ранних варианта писем и наиболее интересные заметки утопического содержания, разбросанные в бумагах Одоевского.

Рассматривая все материалы, относящиеся к утопии, мы прежде всего замечаем ее явно субъективный характер, столь свойственный всему творчеству Одоевского. Если в «Путешествии в землю Офирскую г. С. извецкого дворянина» князь М. Щербатов \*) высказал заветные мечты и чаяния высшего дворянства о привилегиях, то Одоевский в «4338-м годе» выражает личные жизненные симпатии и взгляды мыслителя-идеалиста.

Обращаясь к социальной стороне утопии, мы должны отметить, что воображение Одоевского не слишком далеко унеслось за пределы николаевского государства. В России XLIV века всей страной правит «первый поэт» — государь, управитель российской империи. Сохраняются в полной неприкосновенности классовые принципы и классовое неравенство — богатство и бедность, а также государственная бюрократическая организация с «мирными судьями», избираемыми из богатейших людей, и министерством «примирений» во главе.

Единственное, что мы находим в области социальных будущих преобразований, намечаемых утопий, — это своеобразный «обеденный коммунизм», столь характерный для большого гастронома Одоевского — автора лекций доктора Пуффа о кулинарии и домоводстве.

Социальная близорукость Одоевского, несмотря на то, что утопия написана в промежутке между революциями 1830 и 1848 г. г. — времени наивысшего расцвета социальной фантастики, особенно бросается в глаза, если сопоставить его произведение с утопией Кабэ — «Путешествие в Икарию», одновременно изданной во Франции. \*\*)

Причина этой близорукости кроется в том, что во время создания «4338-го года» Одоевский находился еще всецело во власти шеллингианства, философско-мистического идеализма и был далек от того научного реализма, к которому он подошел лишь в 50-60 годы.

---

\*) Род. 1733 г., ум. 1790 г.

\*\*) Voyage en Icarie, изд. в 1840 г.



К этому произведению Одоевского мы должны подойти ретроспективно; оно сможет тогда помочь уяснить культурный и социальный горизонт представителя передового дворянства николаевской эпохи.

Обращаясь к техническим мечтаниям Одоевского, мы должны отметить, что и здесь он не очень далеко ушел от тех возможностей, какие открывались человеку 30-х годов прошлого века, хотя может быть, последнее, о чем он сам предупреждает в предисловии, делалось им преднамеренно, дабы не заслужить обвинения в преувеличениях.

Наш XX век в свои 28 лет достиг во многом того, что относит Одоевский к XLIV веку. В качестве тем наших дней встали такие вопросы, какие не могли возникнуть у человека прошлого столетия. В этом — оправдание несуразной отдаленности даты утопии.

Вопрос генезиса «4338-го года» чрезвычайно затруднителен, ибо почти невозможно выяснить, какие из утопий могли повлиять на создание этого произведения. Думается, что Одоевский является родоначальником современных романов в жанре Уэллса — столь распространенных ныне фантазий из области техники будущего.

Итак, я стремился различными повестями Одоевского дать наиболее полную характеристику его писательской деятельности. Пониманию особенностей его творчества поможет нам и проникновение в его глубоко-интересную личность. Посему я решил повести предварить очерком об Одоевском как человеке, общественном деятеле и мыслителе.

Здесь я стремился разорвать узаконенные рамки документа и заставить его говорить самого за себя. В этом, конечно, условно историческое правдоподобие хотя бы первой главы моего очерка, рисующей салон Одоевского. Эта глава основана на подлинных свидетельствах различных его посетителей и на других материалах, связанных или с Одоевским, или с его временем. Столь же условна и третья глава «Записная книжка», составленная из различных высказываний Одоевского, относящихся к различным эпохам его жизни. Здесь я стремился, соединяя отдельные документы, создать цельное по настроению впечатление, которое помогло бы разобраться во внутреннем облике писателя.

В связи с тем, что эта работа мною выполнена на основании изысканий в архивах Одоевского, хранящихся в Российской Публичной Библиотеке, в Пушкинском Доме Академии Наук и Библиотеке Московской Консерватории, и в значительной степени дает

материалы, никогда доселе не бывшие в печати, я счел необходимым приложить примечания библиографического характера, которые мной, в целях освобождения текста от загромождения, вынесены в конец книги. \*)

*О. Цехновицер.*

Ленинград.

Сентябрь 1928 г.

---

\*) Примечания, отмеченные звездочками, имеют непосредственное справочное отношение к тексту и приведены внизу страниц, а библиографические выноски, помеченные цифрами, вынесены за текст.

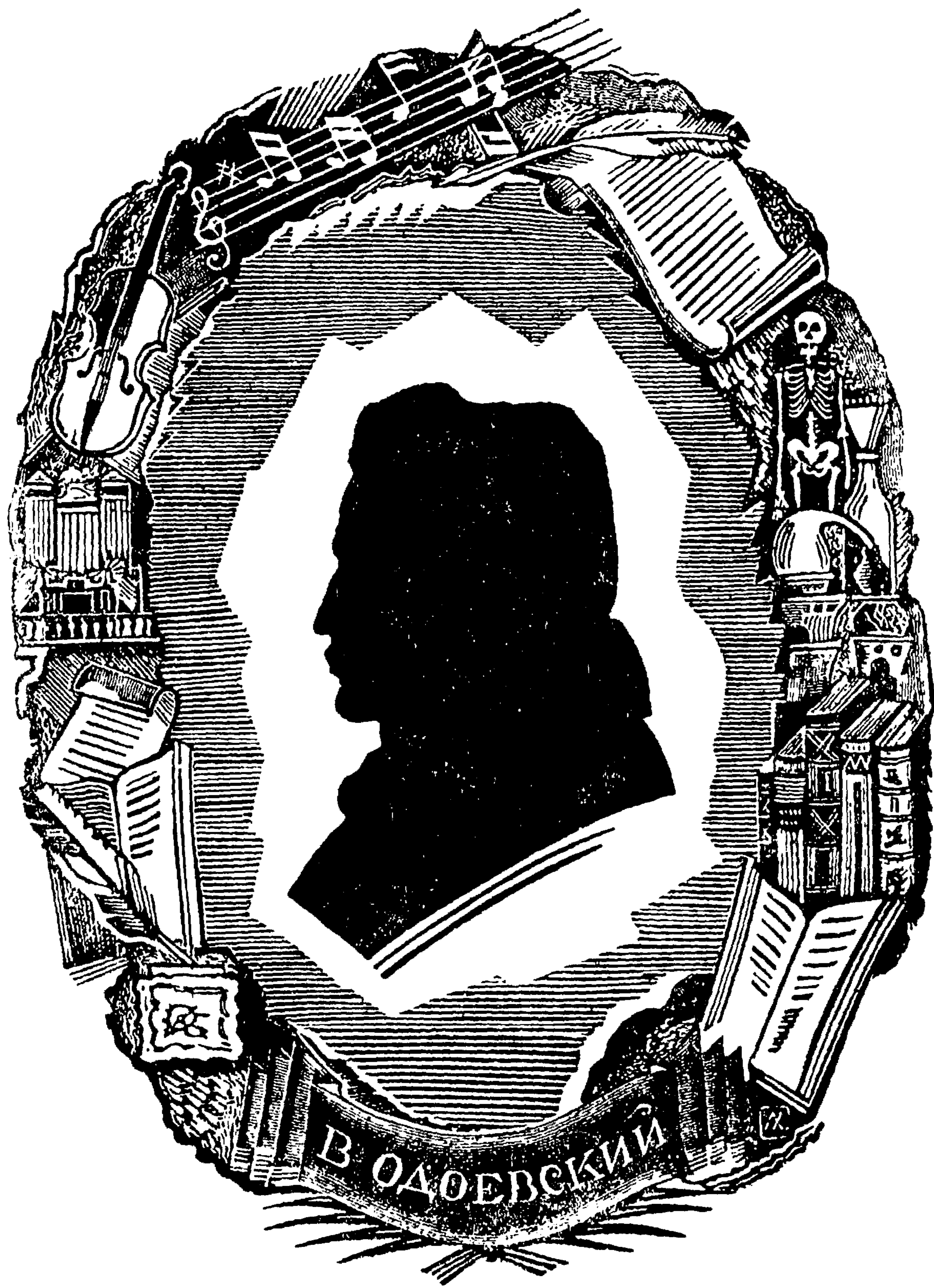
С И Л У Э Т

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

[ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ ОРЕСТА ЦЕХНОВИЦЕР]

*Евгений.*







Я приблизился к этим людям, которые были нам подобны, но отличались от нас тысячью оттенков чувства и мысли; я жил их жизнью и читал в их сердцах.

«Vie de Jeanne D'Arc.»  
Анатолий Франс.

Если вы, дорогой читатель, поедете в Петербург, то вы, конечно, встретите в обществе, в особенности в высших его кругах, красивого молодого человека среднего роста, с голубыми выразительными глазами, с бледным лицом и черными волосами; он элегантно одет, не принимает особенного участия в развлечениях, выглядит несколько рассеянным и иногда исполненным байронического презрения к окружающему. Если вы всмотритесь, вы заметите, однако, что его рассеянность объясняется его внутренней сосредоточенностью, его мечтательностью, которая по временам преображает его лицо. Это князь Одоевский. Привет ему. Может, он вас пригласит к себе, где у него собираются интересные иностранцы, художники, ученые и литераторы.<sup>23</sup> Примите приглашение и побывайте в субботу, после театра, у гостеприимного хозяина. Да, не забудьте, что притти к князю раньше 11 часов вечера —

рано. Сообщаю вам и адрес — Одоевский занимает в Мошковом переулке на углу Большой Миллионной скромный флигелечек.

В квартире у хозяина все на большую ногу, все внушительно. Общество проводит вечер в двух маленьких комнатках и только к концу переходит в верхний этаж, в «львиную пещеру», т. е. в просторную библиотеку князя.<sup>24</sup> Если вы бывали у Одоевского в 20-х годах в Москве, в пору издания им совместно с Вильгельмом Кюхельбекером «Мнемозины» и ревностного изучения, в поисках за универсальным знанием, мистиков средних веков — химиков и алхимиков, физиков и метафизиков — Альберта Великого, Парацельса и Раймунда Люллия, то вы, дорогой читатель, сразу же убедитесь, что та каморка юного любомудра в Газетном переулке лишь миниатюра этой «пещеры». Вспомните московские две тесные каморки молодого Фауста под подъездом, которые всегда были завалены книгами: фолиантами, квартантами и всякими октавами — на столах, под столами, на стульях, под стульями, во всех углах, — так что пробираться между ними было мудрено и опасно. На окошках, на полках, на скамейках — стеклянки, бутылки, банки, ступы, реторты и всякие орудия. В переднем углу красовался человеческий костяк с голым черепом и надписью: *sapere aude* \*). К каким ухищрениям должно было прибегнуть, чтоб поместить в этой тесноте еще фортепиано, хоть и очень маленькое, теперь мудрено уже и вообразить! Это мог сделать только Одоевский со своими изобретательными способностями в этом роде.<sup>25</sup> Итак, вы видите, что петербургская «пещера» почти не отличается от московской. На полках, на столах, на диванах, на полу, на окнах попрежнему громоздятся книги — и притом в старинных пергаментных перепле-

---

\*) Дерзай познать.



тах с писанными ярлычками на задках; в углу стоит изобретенный Одоевским орган, который хозяином в честь Баха назван «Себастиноном», а друзьями прозван просто «Савоськой». На стене портрет Бетховена с длинными седыми волосами и в красном галстухе; различные черепа, какие-то необыкновенной формы стеклянки и химические реторты. <sup>26</sup>

В ответ на ваше изумление при взгляде на это диковинное жилище хозяин улыбаясь говорит: «У нашего немца на все струмент есть».

Вокруг письменных столов, заваленных бумагами, друзей дома ожидают покойные седалища. На этом диване Пушкин слушал благоговейно Жуковского; графиня Ростопчина читала Лермонтову свое последнее стихотворение; Гоголь подслушивал светские речи; Глинка расспрашивал графа Виельгорского про разрешение контрапунктных задач; Даргомыжский замышлял новую оперу и мечтал о либретисте. Здесь вы можете встретить князя Вяземского, гиганта красавца, образованнейшего Сергея Александровича Соболевского, драматурга князя Шаховского, которого в насмешку называют *le père de la comédie* \*), Блудова, молодых членов французского посольства, синолога отца Иоакима Бичурина, с китайскими сузившимися глазками; тяжелого немца, барона Шиллинга, возвратившегося из Сибири, и многих других людей, почему-либо замечательных, литераторов, ученых, музыкантов, общественных деятелей и путешественников. <sup>27</sup>

Хотя вы вначале уже мельком познакомились с внешним обликом князя, давайте же сейчас, удобно расположившись в кресле, углубим наши наблюдения. Одоевский в плечах не широк, вообще видом из слабеньких. Чтобы не казаться моложе своей жены, которая старше его на 6 лет, шепнула мне одна наша общая знакомая, он всегда ходит

---

\*) Отец комедии.

несколько сгорбленно, с поникшей, словно от усталости, головой. Руки и ноги у него породистые: маленькие и узкие. Лицо его подходит под тип известных старых портретов великих князей владимирско-московских из старшей отрасли Рюриковичей, за изъятием выражения спокойной энергии; тот же широкий, большой лоб, прямой нос и небольшой рот с пухлыми, добродушно-улыбающимися губами; только темно-коричневые, почти с черным отливом волосы гладки, и в особенности у висков. Глаза голубо-серые, умные, но не довольно спокойные, скорее — робко, почти боязливо и рассеянно глядящие. Князь не выносит пристально смотреть на какой-либо предмет, и в его плавной, но несколько торопливой речи звучит какая-то нотка нерешительности, несамоуверенности; тембр его тенорового голоса сам по себе приятен, ласкающий. Но вследствие отсутствия всяких оттенков речь его, когда он долго говорит, порождает иногда в вас некоторое утомление, чему, конечно, много способствует упомянутая нотка торопливой речи. И странно: эти боязливо-беспокойные взгляды, эта нерешительная речь вовсе не идет к его всегда ровному характеру, основными чертами которого являются редкая, примерная честность и прямота души, неограниченная сердечная доброта и огромное терпение.<sup>28</sup> Это человек поразительной мягкости, кротости, доверчивости и душевной чистоты, того «прекраснодушия», которое часто принимается людьми за наивность или недалекость.

Сам хозяин, если вы придете к нему не в дни приема, поразит вас своим диковинным костюмом: черный шелковый, остроконечный колпак на голове и такой же длинный до пят сюртук. Это одеяние делает его похожим на какого-нибудь средневекового астролога или алхимика.<sup>29</sup> У ног хозяина ластится огромный черный кот, которого Одоевский, подобно Гофману, назвал «Kater Murr» (котом Мурр).

Светские люди у него на вечерах окружают обыкновенно

хозяйку дома, которая разливает чай в салоне, а литераторы, боясь туда заглянуть, битком набиваются в тесный кабинет хозяина. Целая бездна разделяет этот салон от кабинета, и самое тягостное — это то, что, чтобы достичь вожделенного пристанища, надобно пройти салон — после церемониала представления, под преследованием дамских лорнетов и мужских стеклышек, несомненно приятных взглядов и улыбочек. У Одоевского в гостиной — светские господа, а в кабинете — литераторы, музыканты и ученые и прочие посетители хозяина.

Когда я в первый раз явился *en tenue toute conforme* \*) к Владимиру Федоровичу на вечернее собрание, мне сначала, конечно, было не совсем ловко: я никого не знал из всей этой довольно многочисленной компании... Обоюдные представления производились только в интимном кругу или в экстренных случаях, если высшее по званию лицо либо само пожелает, либо милостиво разрешает. Само собою разумеется, что я прежде всего подошел к хозяйке дома засвидетельствовать должное «высокопочитание со стороны всепокорнейшего ее слуги» в виде самого этикетного реверанса. Ее сиятельство удостоили меня милостивым легоньким наклоном головы, но ручки своей протянуть не изволили: это в переводе с мистериозного языка великосветского церемониала значило: «*Mesdames et messieurs; ça appartient à la rôtüre, et pire même, c'est un homme de rien; ça ne vous regarde donc nullement*».\*\*)

— Я же, не подав ни малейшего вида, что я сведущ в этой китайщине, скорчил еще более сладкую мину и поклонился еще отборнее этим членам того общества, которое, называя само себя «хорошим», нередко выказывало

---

\*) Одетый совершенно сообразно с случаем.

\*\*\*) Господа и госпожи, этот вот принадлежит к простолюдию, хуже даже, человек ничтожный, это вас, следовательно, никак не касается.

себя далеко не хорошим. Но, улыбаясь им, я думал: «господа и госпожи! да я сюда и вовсе не для вас явился. Je me fiche pas-mal de vous! \*). Не вы есть то «хорошее» общество, которое я, без сомнения, найду в соседней комнате. Тут же вышел сам князь очень приветливо мне навстречу и, пожав мне руку, повел меня в другую комнату, где ласково отрекомендовал присутствующим <sup>30</sup>.

Вдруг — никогда этого не забуду — входит дама, стройная, как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в то время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал — *incessu dea patebat\*\**). Благородные античные черты ее лица напоминали мне Евтерпу Луврского музея, с которой я хорошо был знаком. Князь Григорий, \*\*\*) подошел ко мне, шепнул на ухо: «не годится слишком на нее засматриваться»... Мне захотелось посидеть по крайней мере около Пушкина. Я собрался с духом и сел около него. К моему удивлению он заговорил со мною очень ласково: должно быть был в хорошем расположении духа...

Наш разговор был оживлен и продолжался долго; я был в ударе и говорил о Гофмане, которого знал наизусть. «Одоевский пишет тоже фантастические пьэсы», сказал Пушкин с неподражаемым сарказмом в тоне. Я возразил совершенно невинно: «*Sa pensée malheureusement n'a pas de sexe*», \*\*\*\*\*) и Пушкин неожиданно показал мне весь ряд своих прекрасных зубов. <sup>31</sup>

Посетители разбились на группы и оживленно беседовали. В уголку, среди дам, о чем-то повествовал Владимир Федорович. По смущенным лицам, румянцу и тя-

---

\*) Ни на что даже вы мне не нужны.

\*\*) Когда она появлялась, то казалось, что видишь богиню.

\*\*\*) Волконский.

\*\*\*\*\*) К несчастью, мысль его не имеет пола.

желой неловкости было видно, что князь чем-то смутил своих слушательниц. Он отличался еще тою особенностью, что самым невинным образом и совершенно чистосердечно и без всякой задней мысли рассказывал дамам самые неприличные вещи; в этом он совершенно не походил на Гоголя, который имел дар рассказывать самые соленые анекдоты, не вызывая гнева со стороны своих слушательниц, тогда как бедного Одоевского прерывали с негодованием. Между тем, Гоголь всегда грешил преднамеренно, тогда как князь Одоевский был в самом деле невиннее агнца.<sup>32</sup> Одоевский же, несмотря на гневливые взоры шокированных дам, продолжал: «В Петербурге барыня, рассердясь на свою крепостную девку, посадила ее голой задницей на горячую плиту, так что бедную отвезли в гошпиталь. — На одном бале я говорю Данзасу, что такого рода п е ч а т а н и е опаснее всех возможных печатаемых статей. Данзас стал уверять, что это происшествие — ложное; кстати подошел обер-полицмейстер граф Шувалов, который подтвердил это происшествие еще тем, что он сам был на следствии»... — и в голосе князя зазвучала нотка гневливости. «Вы думаете, что это еденичный случай? Вот другой — помещица Архангельская секла девку свою, из ревности к мужу, по детородным частям. — А еще есть антиэманципаторы!». <sup>33</sup> «Я люблю любить и презирать в волю, — а не середкой на половине. Никак этого понять не могут: любовь, презрение — до некоторой степени, в известных границах — все равно что честность до некоторой степени, что честность в известных границах». <sup>34</sup>

Разговор и вызванная им неловкость были прерваны приглашением к ужину. Одоевский с таинственным тоном предупредил нас, что у него сегодня к ужину удивительные сосиски его собственного изобретения и вкуса примечательного, что они приготовлены на основании длительных химических опытов. Владимир Александрович

Сологуб нагнулся ко мне и с насмешкой сказал: «От этих отвратительных блюд доктора Пуффа — таков был псевдоним Одоевского в его книгах и статьях по вопросам кулинарии — у меня всегда на сердце скребет».<sup>35</sup> У непосвященных любопытство на счет сосисок возбуждено было сильно, ибо все слышали, что ни у кого нет таких фантастических блюд, как у Одоевского: у него пулярдка начиняется бузиной или ромашкой; соусы перегоняются в химической реторте и состояются из неслыханных смешений. У него все варится, жарится, солится и маринуется ученым образом. Ужин открылся именно этими сосисками. Все разрезывали их и рассматривали со вниманием и, поднося ко рту, предвкушали заранее особую приятность, но разжевав, все вдруг замерли, полуоткрыли рот и не знали, что делать. Сосиски, — увы! не удались, и так отзывались салом, что всем захотелось выплюнуть.

Соболевский выплюнул свою сосиску без церемонии и, торжественно протягивая руку с тарелкой, на которой лежала сосиска, обратился к хозяину дома и закричал во все горло, иронически улыбаясь и посматривая на всех: — Одоевский! пожертвуй это блюдо в детские приюты, находящиеся под начальством княгини.

У Одоевского, как вообще у всех людей нервических, не было *esprit de repartie* \*): он совершенно смутился и пробормотал что-то.<sup>36</sup>

После ужина мы расположились на диванах, а некоторые около них, образовав отдельные кружки. Барственно-представительный Соболевский, прозванный в обществе за свои меткие и злые экспромты и ядовитые каламбуры «*Mylord qu'importe*», \*\*) с комической важностью громко возгласил свой новый экспромт на Одоевского:

---

\*) Находчивости в ответах.

\*\*) Непереводимое выражение; приблизительно—«Милорд Спесь».

Случилось раз, во время оно,  
Свалился с дерева комар,  
Повесткой в Комитет Ученый  
Зовут тебя, князь Вольдемар.

Соображая этот казус,  
Ты, рывшись в книгах, рассудил,  
Что в Роттердаме жил Эразмус,  
Который в парике ходил.

Одушевленный сим примером,  
Ты сбрил власы, надел парик,  
И свойственным тебе манером,  
Таинственно главой поник.

Комар, в обширнейшем значеньи,  
Ты говоришь, — есть божья тварь;  
Но в музыкальном отношеньи,  
Меж насекомых, — он звонарь.

И если он паденьем в поле  
Не причинил лесам вреда,  
Предать сей случай божьей воле,  
Избавив тварь ту от суда.

Стихи были приняты единодушным весельем, ибо как раз в это время Владимир Федорович был членом ученого комитета при министерстве государственных имуществ и занят был составлением записки по поводу появившегося где-то вредного насекомого. Кроме того, не так давно Одоевский сбрил волосы и ходил некоторое время в парике, так что сатира была злободневна и остра.<sup>37</sup>

За этим стихотворением «неизвестного сочинителя всех известных эпиграмм» последовал ряд других как по адресу хозяина, так и гостей. Но особо мы все развеселились, когда один из визитеров салона (не кабинета), русский барин, воспитывавшийся за границей, глупый и невежественный, но очень богатый, с большими связями и игравший некоторую роль в свете (такие часто встречались в салоне

Одоевского), адресовался к самому Пушкину со следующим вопросом:

— J'entends toujours parler de la littérature russe, et je voudrais bien savoir quel est actuellement le poète russe, qui jouit de la réputation la moins contestée?

— C'est le comte Chwostow — sans contredit, — отвечал Пушкин соника.

— Ah! le comte Chwostow — j'en prendrai note — je vous suis très reconnaissant.\*)<sup>38</sup>

Несмотря на всю нашу боязнь обидеть светского гостя, ответ Пушкина был принят общим, правда сдавленным, смехом.

Часть гостей села за пикет, Соболевский продолжал злословить, и его смех раздавался по комнате. Пушкин говорил с Одоевским о музыке, как музыкант; они стали беседовать о Бахе, фуги которого ему ранее Владимир Федорович играл. Потом беседа перешла к постановке «Дон-Жуана», которую он просматривал в опере также совместно с князем.<sup>39</sup> Разошлись мы поздно, в четвертом часу ночи.

\*

Оставшись один, Одоевский по своему обыкновению переоделся в алхимический костюм и прошел в кабинет. Он сел в кресло, выдвинул ящики с бумагами в своем диковинном полном ящичков бюро и начал предисловие к «Пестрым сказкам»:

Почтеннейший читатель!

...когда вы где-нибудь в уголку гостиной встретите маленького человечка, худенького, низенького, в черном

---

\*) — Я постоянно слышу разговоры о русской литературе и хотелось бы мне узнать, какой русский поэт в настоящее время пользуется наиболее бесспорной репутацией.

— О, без сомнения, — граф Хвостов, — отвечал Пушкин соника.

— А, граф Хвостов, — я это приму к сведению — я вам весьма признателен.



фраке, очень чистенького, с приглаженными волосами, у которого на лице написано: «бога ради, оставьте меня в покое» — и который — ради сей причины, заложив пальцы по квартирам, кланяется всякому с глубочайшим почтением, старается заговорить то с тем, то с другим; или с благоговением рассматривает глубокомысленное выражение на лицах почтенных старцев, сидящих за картами, и с участием расспрашивает о выигрыше и проигрыше; словом, всячески старается показать, что он также человек порядочный и ничего дельного на сем свете не делает; который между тем боится протягивать свою руку знакомому, что бы знакомый в рассеянности не отвернулся, — это я, Милостивый Государь, я — ваш покорнейший слуга.

Представьте себе мое страдание! Мне, издержавшему всю свою душу на чувства, обремененному многочисленным семейством мыслей, удрученному основательностью своих познаний, — мне — очень хочется иногда поблистать ими в обществе; но только что разину рот, — явится какой-нибудь молодец с усами, затянутый, перетянутый и перебьет мою речь замечаниями о состоянии температуры в комнатах; или какой почтенный муж привлечет общее внимание рассказом о тех непостижимых обстоятельствах, которые сопровождали проигранный им большой шлем, — между тем вечер проходит, и я ухожу домой с запекшимися устами...

В сем затруднительном положении, я заблагорассудил обратиться к вам, почтенный читатель, ибо — говоря без лести — я знаю, что вы человек милый и образованный, и притом не имеете никакого средства заставить меня замолчать; читайте, не читайте, закройте или раскройте книгу, а все таки печатные буквы говорить не перестанут. И так волею, или неволею слушайте: а если вам рассказ мой понравится, то мне мыслей не занимать, я с вами буду говорить до скончания века. <sup>40</sup>

\*

Мы не удовольствуемся одною похвалою сего великого мужа, а попытаемся проникнуть в глубину его духа и вникнуть в отличный характер его произведений.

Л. Тик.

Огромный жизненный путь был пройден Одоевским. Ему пришлось быть современником и соучастником великих событий в истории русской социальной жизни. От восстания декабристов до крушения элементов натурального хозяйства и крепостного строя — до реформы 19 февраля 1861 г., официального конца дворянского периода русской культуры. От первых битв на площадях молодой русской буржуазии с российским феодализмом за окончательное изжитие всех остатков этого строя — до упорной борьбы уже в комитетах и комиссиях, в Государственном совете, в сенате и на дворянских собраниях. От того времени, когда революционными борцами являлись полковники и капитаны, до момента, когда блестящие мундиры русских карбонариев сменились сюртуками статских и тайных советников, богатых помещиков и профессоров.

В плеяде этих борцов видное место занимает Одоевский — один из наиболее ярких идеологов либеральной дворянской интеллигенции, человек, полный пафоса, мирных «комитетских» преобразований.

По происхождению князь, последний из Рюриковичей, Одоевский в целом ряде вопросов стал выше своего класса — аристократии, видел неизбежную гибель вотчинного, крепостнического и реакционного дворянства и перешел на сторону ревнителей социальных реформ. В своих сочинениях, в своей деятельности он сформулировал всю, полную радужных мечтаний, философию этих глашатаев нового времени и он, совместно с передовыми деятелями века, проделал весь вековой путь активной реформационной работы. Универсально образованный, мыслящий, чутко реагирующий на дыхание времени, Одоевский не мог не ответить на отдельные этапы русской и европейской социальной жизни. Он следует течениям эпохи, не боится пересмотра позиций прошлого и неустанно следит за всеми движениями и изменениями в духовных и социальных настроениях. От периода «любомудрия» он идет к философскому идеализму и романтическому универсализму, а отсюда к научному реализму. Если в период своей философско-мистической настроенности 30-х годов он почти чужд социальных идей, то ко времени второй половины жизни — к 50-м и 60-м годам — у него усиливается интерес к социальным вопросам. Он усердно читает книги по политической экономии, изучает социалистов и присматривается к окружающей жизни.

Сторонник мирных преобразований, Одоевский в течение всей своей жизни скептически смотрел на «нелепые» мечты, порожденные «демократическим» духом Европы, на «неисполнимые законы на преобразование общества», т. е. на учение утопических социалистов. Он всю свою жизнь был полон испуга пред возможностью революции.

Он боится плебса — пролетариата. Он помнит письмо, присланное ему его другом, графиней Ростопчиной, характеризующее пролетарскую революцию 1848 г.:

«Во Франции теперь две Франции: одна — высшее звание, благонамеренное, благомыслящее, добродетельное, почтенное страдает от бури, которой она не в силах противиться и которая угрожает ее поглотить; другая — гнусные, завистливые возмутители и еще гнуснейшая толпа, которая как хищный зверь бросается на все, что богаче, образованнее и выше ее. Это повторение фараонова сна — *les vaches maigres, qui dévorent les vaches grosses*; \*) это исчадие Каина, уничтожающее потомков Сифовых.— Чем и как все это кончится? . . . . Славу богу, наше дело сторона; нам только должно повторять слова Христовы: «да мимо идет чаша сия!» и не допускать нашу Русь, еще здоровую и молодую, отравляться мнимым просвещением, где яд сокрытый и тлетворный подносится ей злоумышленно или неосторожно. Еслиб нам теперь себя оградить духовно Китайскою стеною, запретить *все* без изъятия книги и журналы, прервать *все* сношения с Западом, мы бы еще на много веков отвратили от себя заразу. . . .» <sup>41</sup>

Таких решительных суждений просвещенный Одоевский, конечно, высказать не мог. Он не только не сторонник «духовных китайских стен», но, наоборот, ревнительный поборник возможной близости с Европой. Но вместе с тем, когда он задумывается над возможностью революции, то вместе с Ростопчиной повторяет: «да минет нас чаша сия».

«Сохраним нашу старую, добрую веру, полную миротворения и поэзии, сохраним нашу преданность царю сему, святому залогу русского единства и земской целости», — заносит Одоевский в свою записную книжку по дороге

---

\*) Тощие коровы, пожирающие тучных (О, Ц.).

из Москвы в Петербург в 1849 г., — «не перейдем у иностранцев ни их гражданского безумия, ни смут, ни раздора, — но перейдем и усвоим себе Смалевс плуг и Жикардову машину, и Макадамову дорогу, и Уатов паровик». <sup>42</sup>

Петрашевцы представляются ему безумцами: «Я бы их отправил в богадельню Преображенского раскольничьего кладбища, пусть бы на практике отведали коммунизма», <sup>43</sup> — пишет Одоевский. Бакунина он также без колебаний причисляет к «безумцам». <sup>44</sup> По отношению к революционному пролетариату он аристократически, по-княжески презрителен: «Если наглый плебей, вырвавшись из узды, бросает грязью в того, чьим хлебом он кормился, то это не значит, чтобы плебей сравнился с патрицием, а только то, что плебея рано разнуздали». <sup>45</sup> Революция ему представляется наивно-примитивно — здесь он не выше помещицы Ростопчиной: «Как происходят революции? Один более образованный человек обольщает толпу простолюдинов, которые по низкой ступени, занимаемой ими среди людей, и не могут подозревать, что они только орудия, и даже не могут вообразить для себя другого назначения». <sup>46</sup> Так же близоруко, презрительно, по-княжески смотрит Одоевский на распространяемые революционными организациями прокламации против существующего строя: «В газетах находится полицейское распоряжение относительно подметных листов, так называемых воззваний, разбрасываемых в городе злонамеренными людьми. Полиция делает свое дело. Но спрашивается: не уж-ли кого-либо, хоть скольконибудь грамотного человека могут смутить эти нелепые, бессвязные, беспредметные и к тому же еще и безграмотные листы? Не уж-ли ребяческая и вместе полуумная затея нескольких ничтожных и по уму и по образованию негодяев может вызвать что либо кроме улыбки презрения?» «И кто это каверзит? — спрашивает Одоевский, — кто эти несчастные, безголовые, которые мечтают о

возможности междуусобицы? могут-ли они обмануть кого-нибудь, кроме самих себя? Не понимая классовой борьбы, не видя зарниц надвигающейся революции, либерал Одоевский склонен и в распространителях прокламаций видеть «печальников об отмене крепостного состояния», которые полагают, что «заведя смуты, они какнибудь в мутной воде восстановят свою желанную мечту — крепостное право». <sup>47</sup> Одоевский верит в разумные начинанья самодержавия и не представляет себе для России никакого другого социального строя: «Будь у нас парламент, хотя бы избранный без различия сословий, что произошло бы? дворяне-помещики были бы против; купцы — пренебрегли бы этим делом как до них не касающемся, а часть их была бы на стороне помещиков; крестьяне, раздраженные противодействием и не будучи в состоянии выразить дела, — заварили бы кровавую кашу. Едва ли чрез сто лет Россия будет готова к парламенту». <sup>48</sup> Самодержавие Александра II, по мысли Одоевского, предохраняет страну от пугающей революции. Жизнь царя — драгоценность — записывает он в свой дневник, — «случись несчастье — не уж-ли народ поверит, что оно следствие натуральной болезни? и тогда уже в самом деле горе и для помещиков, и для дворянства, и для всех людей бритых. Пугачевщина возобновится, но в иных и страшных размерах». <sup>49</sup> Свои политические воззрения Одоевский формулирует так: «Нам нужен не метафизический и потому мертвый и отсталый социализм какого-нибудь Герцена, но положительное разумение общих условий человечества, в их живом применении к данной стране, ее местности, ее нравов, степени просвещения, словом, ко всему тому, что называют народностию». <sup>50</sup>

Одоевский верит в благодетельность предпринимаемых правительством реформ: «Лишь во время произведенными реформами можно остановить насильственное вторжение

гибельных, фантастических нововведений». <sup>51</sup> Слабость правительства он видит лишь в том, что оно не опирается на ту прогрессивную часть общества, которая заинтересована в его начинаниях, и всячески стремится приложить свои силы к активной реформационной деятельности. Здесь Одоевский вполне разделяет точку зрения А. А. Краевского, который в одном из своих писем к князю так формулировал свое отношение к существующему порядку: «Во всем том, что я слышу со всех сторон и вижу, мне видятся два крайние направления, резко обозначающиеся: одни тянут прямо к революции, закусив удила и не внемля ничему. «Нет надежды на правительство: все его реформы— вздор, это полумеры, которые хуже застоя; надо разом покончить и вырвать силою то, что никогда не отдадут добровольно». Другие, испуганные этими порываньями, говорят, что правительство действует слабо, выпускает из рук возжи и своими реформами только мутит народ, ослабляя в то же время свою силу. Эти прямо тянут в реакцию. Я же говорю: правительство действует робко и нерешительно в своих реформах, потому что не имеет поддержки в общественном мнении, в котором большею частью слышит голос запоздалых крепостников, могучих взяточников и близких к нему блюдолизов. Еслиб оно прислушалось к голосу общества (отдаленного от него историею), оно увидело бы, что ему есть на что опереться в *прогрессивном* своем ходе, и что нечего смотреть на эту сволочь, которая не опасна, потому что составляет каплю в море». <sup>52</sup>

Из этого письма видно, что настроения Одоевского разделялись и другими передовыми деятелями его времени— либерально-прогрессивным дворянством. Но самое тягостное для Одоевского было то, что он не мог не видеть, что правительство в большинстве именно и состоит из «запоздалых крепостников, взяточников и блюдолизов». Он, как мечтатель-идеалист, думает, что если бы ему удалось

раскрыть глаза самодержцу, то все исправилось бы. И не раз во время встреч с императором Одоевский стремится подойти к нему и высказать все, что у него на душе. Но он не подходит, колеблется и заносит в свой дневник: «Погодим».<sup>53</sup> Вместе с тем в своих мечтаниях он слагает целую речь — платформу, которую он высказал бы царю. «Если бы я имел счастье быть им выслушанным, я бы сказал ему три слова: «по боку III-е отделение, суд *гласный* и беспощадный для воров, взяточников и бездельников».<sup>54</sup> Одоевский не только не решился высказать эти свои убеждения царю, но, как и другие либеральные деятели его времени, боялся где-либо открыто высказать свои настроения. Он сам вспоминает, как однажды в 47 или 48 г. на одном приятельском ужине Андрей Николаевич Карамзин провозгласил тост: «За здоровье несчастнейшего из людей — русского мужика». Все весьма струхнули, и последовало молчание. Председатель ужина заметил, что такого рода тосты, как имеющие политическое значение, в нашем кругу предлагаться не должны, и расходясь все взяли друг с друга слово никому об этом тосте не рассказывать.<sup>55</sup>

Так смелы были наши либеральные дворяне за своим столом, в интимном кругу своей семьи. а чаще наедине с собой и так боялись они какого-либо неосторожного слова, которое могло набросить на них тень.

Одоевский был достаточно зорек, чтобы не видеть того произвола и насилия, что царили в тогдашней России. Он в свои дневники и записные книжки внес огромное количество фактов, которые по своей убедительности, часто помимо воли Одоевского, являются приговором самодержавию. К нему часто приходит тоска от раздвоенности, от незнания и непонимания, каким образом можно изжить то зло, тот произвол, которым полна окружающая жизнь. В такие минуты раздумья Одоевский ставит верный диагноз: «Мы похожи на больного, в которого врачи



накачивают опиум; припадки скрыты, но болезнь идет своим чередом, еще минута, малейшая неосторожность, простуда, нарушение диеты — и болезнь явится со всеми предсмертными муками. Грустно!»<sup>56</sup>

Самодержавие с недоверием относилось к Одоевскому, несмотря на то, что он не был замешан ни в одно революционное событие эпохи. Правда, во время своего юношеского «любомудрия» он был в Москве председателем либерального кружка, в котором изучалась немецкая философия и современная политика, кружка, в котором бывали и будущие декабристы — Кюхельбекер, Александр Одоевский, Нарышкин, Рылеев, Оболенский, Пущин и др. Здесь они читали свои «Патриотические думы» и свободно говорили — *d'en finir avec ce gouvernement.*\*) Декабрьские события сильно напугали юного философа, и он, по свидетельству своей тетки Е. В. Львовой, в дни арестов заготовил себе даже медвежью шубу и сапоги на случай дальнего путешествия.<sup>57</sup> Одоевский созывает всех членов кружка и с особенной торжественностью предаёт огню в своем камине и устав и протоколы общества любомудрия.<sup>58</sup> Казнь пяти, ссылка в Сибирь интимного юношеского друга, двоюродного брата — Александра, и соиздателя «Мнемозины» — Кюхельбекера, — все это положило неизгладимый отпечаток на всю его жизнь. Но все же декабризм был чужд Одоевскому. По прошествии многих лет он не только, как многие другие, не вспоминает с удовлетворением свои юношеские политические мечтания, а называет декабристов в дневнике «безумцами» и досадует на правительство, которое не опубликовало все акты Верховного суда, «чтобы видели, какую белеберду затевали Декабристы».<sup>59</sup>

Чем было вызвано недоверие правительства к Одоевскому — судить трудно. Вернее всего — непониманием

---

\*) Что пора расправиться с этим правительством.

устремлений его общественной деятельности и доносами. Еще в пору существования кружка Любомудров доносы поступали в III отделение, причем члены кружка назывались «истинно бешеными либералами», а весь кружок — «либеральной шайкой». В одном из доносов говорилось, что они «занимаются одними политическими науками. Образ мысли их, речи и суждения отзываются самым явным карбонаризмом... Собираются они у князя Владимира Одоевского, который слывет между ними философом.»<sup>60</sup> Об отношении к себе правительства Одоевский узнал уже стариком. Тогда он в свой дневник занес: «Я нечаянно узнал, чего мне в голову не приходило, что Им[ператор] Нико[лай] Пав[лович] считал меня самым рьяным демагогом, весьма опасным, и в каждой истории (н. пр. Петрашевского) полагал, что я должен быть тут замешан. Кто это мне так поусердствовал? и как меня не согнули в бараний рог?»<sup>61</sup>

В бараний рог князя не согнули, но к его деятельности, как мы говорили, относились предубежденно. Последнее чувствовал Одоевский и почти всю жизнь его по ночам душили кошмары-сны. Он интересовался психологией сна и записывал свои сновидения. Эти записи примечательны. Почти все они связаны с арестом, крепостью и бунтами, в которых он невольный участник.

Исходя из наличных условий русской жизни, Одоевский считал наиболее целесообразной формой общественной работы — организованную благотворительность. Он решил эти свои воззрения воплотить в жизнь: в 1846 г. почти совершенно забрасывает свою литературную деятельность и отдается филантропии — становится председателем и руководителем «Общества посещения бедных». Испуганное французской революцией 1848 г. российское самодержавие заподозрело это Общество в склонности к коммунизму и закрыло его. Одоевскому пришлось выдержать

огромную борьбу за существование Общества, а ликвидация произвела на него тягостное впечатление. «Что за дети! вечные дети. Все им чудится социализм и коммунизм», — записывает Одоевский в 1850 г.—«Что это за звери — не знают, как в старину, когда толковали: иезуитизм, аристократизм, патриотизм. Заведи трактор — скажут фаланстерский: готовы заподозрить самое солнце, оно светит на всех, следовательно оно коммунист». <sup>62</sup> В закрытии общества он винит правительство: «Ворам помог другой сорт людей; то были люди, которые для своего комфорта находят удобнее сделать свою карьеру не трудом честным и часто убийственным, — но постоянным возбуждением недоверчивости в Правительстве, и даже его устрашением. Когда у кого-нибудь из этих господ карьера тянулась вяло — и надобно было ее *подживить*, напомнить о себе, — тогда изобреталась какая-либо государственная опасность, — мошенники строили фантазмагорию, дураки поддакивали, образовывалась атмосфера страха и хор животрепещущих голосов; тогда негодяи, составлявшие эту спекуляцию на боязнь, являлись в виде спасителей Государства и, написав несколько дестей бумаги, сделав несколько жертв, даже уничтожив, ни за что ни про что целые учреждения, — они объявляли, что опасность устранена, и протягивали нечистую, иногда окровавленную руку — за подачкой». <sup>63</sup>

После печальной попытки осуществить «разумную» общественную деятельность Одоевский не складывает своего оружия, ибо ощущает психологию своего времени, эпохи, — предчувствует «какую-то важную реформу в общественном устройстве всего мира». — «Дух ходит повсюду под всей Европой, под Китаем, под Америкой. Луи Наполеон и Крымская война, Итальянская война, Польша и проч. суть взрывы етого подземного духа. В России открыт для него клапан — освобождение крестьян». <sup>64</sup>

Утопическому социализму, по мнению Одоевского, не справиться с этой мировой задачей помощи «реформы общественного устройства всего мира». Помощь надо ждать от науки: «она покорит человеку природу, она раскроет законы общественной жизни». Одоевский настолько верит в эту силу науки, что даже утверждает, что «то, что называют судьбами мира, зависит в эту минуту от того рычажка, который изобретается каким-то голодным оборвышем на каком-то чердаке в Европе, или в Америке, — и которым решится вопрос об управлении аэростатами».<sup>65</sup>

Это преклонение перед силой знания, это предчувствие, что новая техника приведет и к социальному преобразованию, заставляет Одоевского параллельно его филантропическим начинаниям взяться за популяризацию науки для народа. В этой области он представляет собою небывалое явление в истории русской общественности первой половины XIX в. Он первый русский образованный человек, который пошел навстречу народу со своей грамматикой, со своим поучительным словом и наукой.<sup>66</sup> Он написал ряд мастерских популярных брошюр по различным вопросам знания, причем многие из них до сего времени могут служить образцами в своей области. Одоевскому пришлось преодолеть чрезвычайные трудности при этой работе. Когда он задумал написать «Краткое понятие о химии, необходимое для свечных мастеров»,<sup>67</sup> ему нужно было изучить предмет до тонкости. Это не смущает его. В 1833 г. он пишет М. А. Максимовичу:<sup>68</sup> «Может быть, вы слышали уже, что я теперь прилежно занимаюсь естественными науками и в особенности химиею; я здесь (в Петербурге О. Ц.) весь прошедший год брал уроки у академика Гессе (ужасного атомистика, но того-то мне и надобно было) с целью написать Народную Химию».<sup>69</sup>

За народной химией следуют учебники грамматики, арифметики, истории и географии для сельских школ

и проч. Все эти книги и брошюры бесследно пропали, и до нас дошел лишь первый народный журнал «Сельское чтение», который с 1843 г. издавал Одоевский совместно с А. П. Заблоцким.<sup>70</sup> Здесь Одоевский поместил огромное количество статей. Журнал, первый в своем роде, переиздавался бесконечное количество раз и разошелся в десятках тысяч экземпляров.

Все эти работы делают писания Одоевского чем-то феноменальным для 30-х годов прошлого столетия, когда большинство интеллигентных людей, в особенности дворяне, имели весьма скудное представление о народе.

Параллельно занятиям по популяризации знаний для народа Одоевский интересуется и обще-педагогическими вопросами. Если современный педагог обратится к рассмотрению педагогических воззрений Одоевского, сказавшихся в ряде его брошюр и статей, то вынесет впечатление об исключительной одаренности его личности, глубины мысли и тонкого понимания как запросов времени, так и основ педагогики.

Дети были лучшими учителями Одоевского и, как он сам признавался, за это он сохранил к ним глубокую привязанность и благодарность. В любовном чувстве к детям, в стремлении у них почерпнуть жизненную мудрость, Одоевский как бы продолжает традиции германских романтиков. «Дети стоят среди нас, как великие пророки», — говорил Тик, а Новалис признавал «превосходство ребенка в самых высоких предметах».<sup>71</sup> Но вместе с тем Одоевский не останавливается на мистическом преклонении романтиков пред детьми — «не стертым потоком земным отпечатком чудесного мира» (Новалис). Он относится к ребенку как мыслитель-педагог, он стремится из общения с детьми почерпнуть для себя практический жизненный урок. «Дети показали мне всю скудность моей науки — говорит Одоевский. — Стоило погово-

рить с ними несколько дней сряду — вызвать их вопросы, чтобы убедиться, как часто мы вовсе не знаем того, чему, как нам кажется, мы выучились превосходно. Это наблюдение поразило меня и заставило глубже вникнуть в разные отрасли наук которыми, казалось, я обладал вполне. Это наблюдение убедило меня в новости тогда неожиданной, а именно, как искусственно, как произвольно, как ложно деление человеческих знаний на так называемые науки... Дитя — отъявленный энциклопедист; подавайте ему лошадь всю, как она есть, не дробя предмета искусственно, но представляя его в живой цельности, — в том вся задача педагоги, донныне не решенная. Чтобы удовлетворить этому строгому, неумолимому требованию, мало отрывочных, так сказать, литературных, или неправильно называемых *общих* знаний, а надобно, как говорят Французы, *mettre la main à la pâte*, \*) и только тогда можно говорить с детьми языком, для них понятным». <sup>72</sup>

Одоевский научился этому языку не только благодаря универсальному кругу своих интересов, но и вдумчивому отношению к ребенку. Последнее особо ярко сказалось в его детских сказках, которые он издавал под псевдонимом «Дедушки Иринея». Эти сказки были также исключительным явлением в его время. Их восторженно принял Белинский, и многие из них сейчас могут послужить образцом в этом роде. Белинский по поводу их писал: «Надо сказать правду, этот добрый старичок такой мастер говорить с детьми, каких немного и не у нас одних. Скажем, кстати, что, по некоторым признакам, можно подозревать, что этот дедушка Иринея что-то в роде Протея, что у него много имен, что он и стар и молод и один работает и делает, по крайней мере, за десятерых». <sup>73</sup>

---

\*) Проникнуть в суть дела (О. Ц.).

Параллельно работам в области педагогики Одоевский занят и вопросами, связанными с музыкой. Он был глубоким знатоком музыки и одним из первых ее теоретиков в России. Его музыкальная деятельность чрезвычайно широка и многообразна. Еще в московском университетском пансионе он научился хорошо играть на фортепьяне и писал романсы. В дальнейшем он сближается с Грибоедовым и вступает в организованный последним в Москве музыкальный кружок. Грибоедов был сам «отличный фортепьянист», — ученик знаменитого петербургского гармониста Иоганна Миллера, а сестра его, Марья Сергеевна, «превосходно играла на фортепьянах и в особенности на арфе». Вместе с Грибоедовым он занимается теорией музыки, что в то время было большой редкостью. Над этим увлечением друзей их общие приятели посмеивались: «Уж как Грибоедов с Одоевским заговорят о музыке, то пиши пропало — ничего не поймешь».<sup>74</sup>

Со времени знакомства с Глинкой из Одоевского уже выработался ярый сторонник националистических тенденций в музыке в противовес господствовавшей тогда италияномании. Он радостно встречает начинания Глинки, является действенным участником и помощником в его музыкальной работе и после первого представления «Жизни за царя» пишет свое знаменитое «Письмо к любителю музыки», в котором перьый объявляет Глинку национальным музыкальным гением. В своем салоне Одоевский объединяет всех более или менее известных музыкантов, русских и иностранных, и его дом является местом, где созрели и были обсуждены наиболее значительные музыкальные произведения первой эпохи русской музыки. Сам Одоевский начинает изучать русскую церковную музыку, первый раскрывает смысл крюков и кладет основы их изучения. Он печатает ряд статей и брошюр о русских песнях и заботится об их собирании. Он издает ряд работ, посвя-

щенных своим изысканиям в этой области: «К вопросу о древне-русском песнопении», «Об исконной Велико-русской музыке», «Русская и, так называемая общая музыка» и др. Одоевский сыграл огромную роль и в деле популяризации музыки. Он издает «Музыкальную грамоту для не-музыкантов», «Музыкальную азбуку для народных школ», в конце своей жизни организовывает у себя на дому лекции по теории русской музыки и проч.

Огромной заслугой Одоевского является борьба за национальную самобытность в музыке и развенчание итальянских увлечений, которые пережили, в начале прошлого века, все европейские народы. В статье «Русская или итальянская опера?» он дает резкую характеристику этих увлечений. По остроте мысли, по яркости суждений эта статья как будто написана в наши дни.

«Эта кукольная комедия (оперы *О. Ц.*) изготовлялась в Италии лишь для потехи людей пресыщенных, которые не знали, куда девать время, для которых искусство было лишь средством убить на что-нибудь вечер; чуждые трезвому труду, чуждые общественному движению, они боялись сильных художественных впечатлений, боялись музыки, как художества: они, прижатые, искали лишь возможности пощекотать свои уши чем-то похожим на музыку... Может быть, освобожденная Италия даст новый более разумный и художественный характер своей музыке», <sup>75</sup>— писал здесь Одоевский. Его отношение к итальянской музыке вытекало из убеждения, что «искусство тем велико, что мирит с жизнью—но итальянская музыка проходит мимо жизни». <sup>76</sup>

От этого повального увлечения итальянцами Одоевский ищет пристанища у своих любимцев: у мудрого Глука, у строгого и ясного Баха и величественного Бетховена. Перед этими музыкальными гениями меркнут в сознании Одоевского все современные ему новаторы. В Веймаре, после прослушания «Армиды» Глука, он записывает в свой



дневник: «Глук! Глук! так он весь и слышится у меня в ушах. Что за недоноски пред ним все нынешние оперы, — все эти пузырьчатые Верди и даже Мейерберы. И не устанешь его слушая; это истинный небесный нектар, а не подслащенная горелка Верди, ни Zucker Wasser \*) с розовым маслом, шпансом, перцем и табаком Вагнера; здесь каждая нота — святая дева, а не раздушенная непотребная девка». <sup>77</sup> Свои воззрения на музыку Одоевский воплотил в изумительных повестях «Себастьян Бах» и «Последний квартет Бетховена». Здесь музыка этих гениев нашла свое проникновенное истолкование, правда, преломленное сквозь сознание философа-романтика.

Музыкальные воззрения Одоевского исключительно возвышенны. Для него музыка — величайшее из искусств, ибо она отражает самые глубины человеческого бытия. Он слышит ее ухом идеалиста-шелленгианца, поэтому теоретическое ее обоснование, научный ее анализ не оскверняет в его сознании этого искусства, а наоборот, здесь он видит путь к ее возвеличению. Он придает музыке и нравственное значение: «Есть люди, которые не понимают музыки; таким людям или недоступно ничто чистое в мире или они выродки». <sup>78</sup>

Наконец, Одоевский занимался и вопросом усовершенствования самих инструментов. Так, по его указанию был выстроен уже упомянутый нами орган «Себастианон», в котором звукам была придана особая выразительность: большее или меньшее давление пальцами клавишей производило соответственное усиление или ослабление звука, так что являлось возможным соблюдать самую тонкую последовательность в музыкальных интонациях. По его чертежам был построен и энгармоничный клавесин. На нем были отдельные клавиши для диезов и бемолей, чем ре-

---

\*) Подслащенная вода.

шалась проблема отличия вводного тона от тона пониженного. Несмотря на то, что игра на этом клавесине, по воспоминаниям современников, резала уши окружающим, Одоевский упорно производил на нем до конца своей жизни гармонические опыты. \*)

Одоевский пытается применить музыку и для военно-стратегических целей. В 1833 г. он издает брошюру «Опыт о музыкальном языке», где дает оригинальные основы связи путем музыкального телеграфа.

Вплоть до своей смерти Одоевский чутко следил за современной музыкальной жизнью. Он помещал отзывы, рецензии и статьи по поводу произведений своих друзей, их композиций и концертов. Он был непосредственно связан с Глинкой, Серовым, А. Рубинштейном, Балакиревым, Берлиозом, Листом и др. В целях пропаганды своих воззрений он помещал статьи и отзывы о концертах, где только представлялось возможным, даже в органах своего врага Булгарина, прикрываясь, так и не раскрытым последним, псевдонимом «Отставного капельмейстера Карла Биттермана». <sup>79</sup>

Одоевский отличался и незаурядным композиторским дарованием. Он написал и издал красивую мелодичную фортепьянную пьесу «Vegetable», написал музыку на песню «Свекровь» Чаева и оркестровал ее, сочинил ряд вальсов, хоралов, прелюдов, колыбельных и проч. <sup>80</sup>

В общем, музыкальная деятельность Одоевского имела громадное, поныне сполна не оцененное, влияние на развитие русской музыки. Его горячая, полная энтузиазма, проповедь в этой области в начале прошлого столетия была одинокой, ибо барское общество было равнодушно к судьбам родного искусства и в большинстве музыкально

---

\*) «Себастианон», в полном забвении, находился в Ленинградской консерватории (найти его ныне нам не удалось), а энгармоничный клавесин — в Музее Московской консерватории.

неграмотно. Это было время музыкального диллетантизма, безвкусицы, композиторской беспомощности. Своими статьями, брошюрами, своим личным влиянием буквально на всех русских композиторов того времени, наконец, своими публичными чтениями на дому Одоевский положил фундамент национальной русской музыки. Он знал, что этот труд неблагодарен, что его, двинувшего и определившего других, вряд ли запомнит будущее поколение. Но это его не останавливало, ибо Владимира Федоровича утешала иная мысль: «минуют дни, и рано или поздно в мир общей музыки — этого достояния всего человечества, вольется новая, живая струя, неподозреваемая еще западом, струя Русской музыки. Мне не дожить до такой эпохи... Передаю эту работу — новому поколению».<sup>81</sup> Одоевский был прав. Эта эпоха наступила. Живая русская струя влилась в музыку всего человечества, и мы сейчас должны признать, что деятельность Одоевского как эстетика, теоретика и археолога русской музыки, как глубокого ее знатока, ревнителя и ценителя оставила глубокий след на судьбах русской музыки.<sup>82</sup>

Так складывается у Одоевского его своеобразный универсализм. По собственному его признанию, он был вызван изучением Шеллинга, который «неожиданно для него самого был истинным творцом положительного направления в нашем веке, по крайней мере, в Германии и в России».<sup>83</sup>

Эти разнообразные занятия, эти поиски универсального знания привлекают Одоевского к средневековым алхимикам. Он изучает Альберта Великого, Парацельса и др., и о нем один из его приятелей справедливо говорил: «Слушая Одоевского, нельзя было не подумать, что если б родился он в средние века, то верно сделался бы самым ревностным учеником Парацельса и пошел бы с полной готовностью на костер с Саваноролюю».<sup>84</sup> Одоевский мыслит

о науке как о стройном организме, а об отдельных знаниях— физике, химии, музыке — лишь как о частях целого. Его не удовлетворяют знания частиц, он стремится к овладению целостным знанием, изучению всех наук, — и отсюда этот, поражающий нас, его энциклопедизм. В погоне за фаустовым универсальным знанием, в этой бесконечной смене интересов и не поверхностных, как думали многие его современники, а глубоких, на изучение которых тратились года, Одоевский представляет трагическое зрелище. Просматривая его бумаги, рукописи, записные книжки, отмечаешь небывалое явление в истории человеческой культуры. Более сотни переплетов, полных незаконченных романов, повестей, рассказов, отдельных мыслей, рассуждений где рядом с мыслями о любви, об искусстве, о природе — трактат о жарке кофе и топке печей. Одоевский, в качестве чиновника при Министерстве внутренних дел, присутствует и наблюдает за производством новоизобретенного способа очистки сомовьего клея, он занимается исследованием о приготовлении питательного отвара из соломенной муки и делает пробу в восьми банках. Он член Комиссии для усовершенствования пожарной части Санкт-Петербурга, он работает в комитете, учрежденном для рассмотрения устройства водопровода в том же Петербурге, он занят изучением появления «рожков» на колосьях хлеба и изыскивает меры борьбы с ними, он пишет статью об езде по московским улицам, он изучает стенографию и написал статью «Изобретение русской скорописи». Он занимается усовершенствованием литографии и делает оттиски на новых основах в изданных им «Пестрых сказках». Он занят вопросом об усовершенствовании печей, механических кухонных очагов, он занимается изучением финского языка и делает этнографические записи песен и напевов Финляндии и пр., и пр., и пр.<sup>85</sup>

Наконец, философ, мечтатель и музыкант занимается вопросом об усовершенствовании кулинарии на основе достижений химии. В приложениях к «Литературной газете» «Записки для хозяев» — Одоевский помещает свои «лекции господина Пуффа, доктора энциклопедии и других наук» о кухонном искусстве. Тягот от занятий такого характера нет. Когда царское правительство командировало коллежского секретаря Пушкина для истребления саранчи в Херсонской губернии, то поэт это назначение принял за обиду и в своем письме к правителю канцелярии писал, «что служба никогда не была для него целью, что он смотрит на свое жалование как на паек ссылочного невольника и готов от него отказаться, лишь бы сохранить свободу распоряжения своим временем и занятиями» и, по преданию, вместо официального отчета написал стихи:

Саранча летела, летела  
И села.  
Сидела, сидела — все съела  
И вновь улетела.

Мы уверены, что, получив назначение такого рода, Одоевский, автор Бетховена, Баха и Пиранези, не только не обиделся бы, а изучил бы все, связанное с летом саранчи, и написал бы о ней брошюру. В своей жизни он имел не мало назначений такого характера. Так, по заданию Комитета министерства государственных имуществ, он составлял записку о вредных насекомых. Одоевский даже увлекся вопросом, стал перечитывать многие книги, правда, имевшие к комару отдаленное отношение, вплоть до Эразма, и в конце концов заслужил... эпиграмму Соболевского.

В своей автобиографической записке Одоевский говорит: «человек не должен ни создавать для себя сам произвольно какой-либо деятельности, ни отказываться от той, к которой призывает его сопряжение обстоятельств его жизни». <sup>86</sup>

Этот универсализм свое наиболее полное выражение нашел в «Русских Ночах». В этом замечательном литературно-философском произведении затронуты вопросы о границах познания, о значении наук и искусства, о смысле жизни, об атеизме и вере, о воспитании, о славянофильстве, о формах государственного правления, о задачах политической экономии, истории, физики, химии, о музыке, о помешательстве и гениальности, о теории поэтического творчества, задачах языкознания, логике, о России и Европе, о высших задачах культуры и пр. и пр.

Эти различные занятия, этот широчайший круг интересов, это острое отношение ко всем явлениям жизни вызвали среди окружающих лишь иронические улыбочки снисхождения пред чудачествами князя и нападки. Одоевский всячески защищался от них. «На меня нападают еще за то, что я вдруг занимаюсь многими предметами: и Философией, и Музыкою, и Химиею, и Медициною, и Живописью. Да, помилуйте, разве нет между вами людей, которые прекрасно играют и в вист, и в екарте, и в шахматы, славно ездят верхом и прекрасно танцуют все роды танцев; да сверх того... погодите, Господа — 1-е, в самом-ли деле ето многие предметы, или один и тот-же? а 2-е, кто вам сказал, что я занимаюсь всеми етими предметами — может быть я занимаюсь своею, мне собственно принадлежащею наукою, у которой покамест нет имени, — виноват-ли я, что некоторые части моей безымянной науки похожи на вашу Химию, на вашу Музыку, на вашу Философию и проч. — Мне кажется, что каждый человек должен иметь в таком роде свою науку; может ето и есть на самом деле. Я не знаю, чему же учился человек, который не знает, что находится под его собственною кожею, который не умеет записать на бумагу музыкальной мысли, перенести на бумагу местоположение, которое ему хочется удержать в памяти, — ето все вспомогательные

знания, механическое подспорье, необходимое для совершенствования своей главной науки, которые относятся к ней, как очинка пера, умение держать его в руках, умение составлять буквы — относится к *сочинению*». <sup>87</sup>

Если человечеству удастся совместить знания этих разносторонних частей одной науки, тогда, по мысли Одоевского, оно поверит своей темной надежде о *полноте жизни*, поверит приближению той эпохи, когда будет *одна наука и один учитель*, и с восторгом произнесет слова, незамеченные в одной старой книге: «человек есть стройная молитва земли!» <sup>88</sup>

Эта старая книга была в руках у человека средних веков и у романтиков нового времени. Здесь, в романтизме, надо искать объяснения всей личности, всех интересов и занятий Одоевского. Он в себе объял, заключил весь круг романтизма, его философию, которая была сформулирована Фридрихом Шлегелем и Шеллингом, его литературу, запечатленную Тиком, Новалисом и Гофманом, его литературно-филологические изыскания разработанные Августом Шлегелем и Гумбольдтом, его естественно-научные открытия и теории, данные Риттером, Гюльзенем и Океном, и социально-политические утопии, созданные Францем Бадером.

В философском романтизме — открытие, единственный ключ возможного понимания Одоевского, как мыслителя и человека. Его колпак, его халат и его средневековые фолианты, его тяга к Бруно и любовь к Баху — все найдет свою самую родственную, близкую среду в окружении романтиков. Через Шеллинга он усмотрел связь и соотношение в бесконечном процессе бытия. И отсюда пришел к опытному анализу живой и мертвой природы, т. е. к материалистическому пониманию мира. И когда мы глядим на «чудака» Одоевского, то рядом с ним встают образы Гете, Новалиса, Шлегеля, Шеллинга и многих других иска-

телей универсального философского камня. Вся философия, все мирозерцание романтизма во всеединстве, в котором все стороны жизни, бытия должны были слиться воедино. Отсюда вытекало и враждебное отношение романтиков ко всякому атомистическому разложению жизненных явлений как в области природы, так и надстройки. Эта враждебность характерна как для Фихте, Шлегеля, Новалиса и Шлейермахера, так и для Одоевского.

Стремление к воссоединению всех элементов, слагающих жизнь, не могло не повлечь за собой хаотичности, которая лишь в далеких перспективах могла предполагать целостность. С этой стороны творческий путь Одоевского напоминает путь одного из основоположников романтизма гениального Фр. Шлегеля — философа и филолога, историка и литературного критика, естественника и богослова. Отдельные положения Шлегеля не сведены ни к какому единству — его жизнь и его творческий путь выявляют лишь неудачу его философских, художественных и жизненных устремлений. Он был полон тоски по всеединству, и трагизм его неудачи заключался в смешении единства как формы жизни с единством как всеобъемлющей формой творчества. В то время как первое осуществимо путем порыва гениально одаренной личности, второе неминуемо ведет к хаосу и срыву. Этот хаос во всем учении романтизма и выйти ему из него не удалось. Вместо достижений единого знания наступило разочарование в значении философии, а быстрые успехи опытных наук и развитие научного марксизма навеки утвердило философию материализма.

Единства нет и не могло быть у Одоевского. Мы имеем отдельные фрагменты ненаписанной единой книги, в которой должна была кулинария слиться с философией, музыка с филантропией, а поэзия с сомовым клеем. В результате осколки, обрывки, отдельные страницы, полные



глубоких мыслей, ярких образов, поэтических взлетов и острого анализа.

В общем мы можем сказать одно — Одоевский не столько открывающий новые пути писатель, мудрый, проникающий в глубины социальных отношений политик, синтезирующий исследователь - теоретик, сколько одаренный, в совершенстве развитый человек. Одоевский носил в себе зерно гениальности, он был человек масштабный, он шел по пути таких гармонично-развитых личностей, как Леонардо и Гете, он достигает полноты внутренней жизни, ибо он сполна живет интересами науки, искусства и социальной жизни. И вместе с тем у него нет единого связующего стержня, нет великого равновесия, гармоничной целостности, связавшей воедино готического Данта, великого олимпийца Гете и великого человека Пушкина. Он полон колебаний и раздвоенности; отдельные камни не складываются воедино, а расходятся, разлезаются в стороны. При созерцании его дела — ощущение не порядка, а беспорядка, не системы (даже романтиков), а хаоса. Но вместе с тем, если он даже не сумел завершить свои идеи, спаять их, осмыслить единой мыслью, все же по совмещению великого с малым, по великому в малом — он встал на огромную высоту.

Гумбольдт утверждал, что каждый человек должен открыть присущую ему особенность и очистить ее, выделяя случайное. Одоевский не следовал этому пути. Он стремился открыть себя не путем очищения от случайного, а нагромождения.

В каждом хаосе есть своя система. Свой смысл и в рывках, осколках и фрагментах. Социально-противоречивая русская жизнь николаевского самодержавия не могла создать сполна завершенной философской личности. Прав был Одоевский, утверждая, что «если бы Фурье пожил у нас, то не написал бы своей системы гармонизации стра-

стей, зане в страсти лени, в страсти ничего неделания — он бы нашел такой элемент, который уничтожает все другие». <sup>89</sup>

Самодержавие не могло родить ни Фурье, ни Гете. Зато оно родило политически безличного Пушкина, протестующего интеллигента — Герцена, одержимого бунтаря — Бакунина, тоскующего дворянина — Тургенева, раздвоенного в противоречиях Толстого и лишь взыскующего гармоничной полноты жизни — Одоевского.

«Перо пишет плохо, если в чернильницу не прибавить хотя бы несколько капель собственной крови».

Одоевский.

В детстве мне попалась книжка, где рассказывалось, что в какой-то стране жил добродетельный Дамон, который каждый день вставал с восходом солнечным, выходил из своей хижины, кланялся на все стороны и благодарил; что он делал в продолжении дня, вставши спозаранку, в книжке описано не было, но говорилось, что в той блаженной стране — все знания, правила, законы и проч. т. п. уместились на одной маленькой дощечке и что именно потому эта страна была совершенно счастлива. Такое открытие привело меня в восторг несказанный; следовательно существовала возможность бросить в печь и Граматику, и Алгебру, и Географию, и Историю Мидян и Ассириян — словом, все те несносные книжки, которые, как лихорадка в уроченные дни, испытывало мое терпение. Стоило найти эту дощечку, — а выучить ее наизусть было бы уже мое дело, и не то я выучивал. Не раз я спрашивал

у учителя: где бы достать эту драгоценную дощечку, которая должна была избавить от пенсов, от углов и от без последнего блюда? — я намеревался не пожалеть на нее моих карманных денег. Учитель улыбался и отвечал мне, что такая дощечка, действительно, существует, но что я еще не в состоянии понять ее, а должен прежде учиться. Такой ответ казался довольно странным моей детской логике; если не только Грамматика, Алгебра, История и проч., но все, что нужно человеку, может поместиться на одной дощечке, то зачем было мучить меня несносными книжками?

Прошли годы; разные люди и книги не раз толковали мне о вожделенной дощечке, — правда, называя ее разными именами, — но, увы! — самая дощечка осталась в той книжке, которую я зачитывал будучи ребенком.<sup>90</sup>

\*

Имею способность долго работать, даже случалось целые ночи, сохраняя всю свежесть головы. Умственный мой элемент очень силен и всегда покоряет плоть. Что значит: умираю спать хочу — я никогда не понимал. Когда я углубляюсь в дело, — сон для меня не существует, но иногда возбуждается нестерпимый голод. Впоследствии, работая с Блудовым по ночам, я приучил себя спать, когда захочу днем, особенно перед обедом, — и могу засыпать крепко на полчаса,  $\frac{1}{4}$ , на 5 минут. Я имею способность отводить от себя мысли, кои меня могли бы [меня] разбудить, и приказать себе спать.

Эта способность была для меня весьма важна в жизни тревожной и чернорабочей, которую до сих пор веду. Нужно мне только сна 8 часов в сутки, но когда бы то ни было и по частям.<sup>91</sup>

\*

Мое преимущество и мой недостаток, который поможет мне удовлетворить всем разнообразным требованиям моей жизни, есть то, что я не могу долго заниматься одним и тем же делом. Я устаю — и посреди одной работы начинают невольно в моей голове прорываться мысли другой, часто весьма отдаленной от первой. Когда я стараюсь пересилить себя, — я пишу дурно; от этой необходимости переходить от одной работы к другой я пишу скоро, оттого что пишу с любовью что бы то ни было. Все, что написано мною таким образом, имело успех, все, над чем я *старался* работать, плохо и слабо; многое из предпринятого мною от переделок столько получало превращений, что я кидал такую работу. Исправлять свое я могу лишь чрез весьма долгое время; большая часть того, что я писал, писано почти прямо набело или диктовано, что мне еще легче. Сей недостаток во мне так силен, что я не могу читать книги без того, чтобы она не порождала в голове моей тысячи мыслей, часто весьма далеких от предмета книги, и потому обыкновенно, читая, я пишу что мне приходит в голову, и в этих обрывках находится наиболее оригинального, нежели в других моих трудах. Здесь тайна быстроты моей работы, а с тем вместе и способности, которая удивляет многих, переходить от законов к повести, от химии к музыке и так далее. Я верю вдохновению — и уверен что без этих толчков из другого мира человек не может сделать ничего порядочного в здешнем. <sup>92</sup>

\*

Когда же отдых? Когда я буду читать что я хочу, писать что хочу, думать что хочу? — За одним трудом выгладывает другой, за другим третий — как снежные сугробы все выше и выше... когда же отдых? О как бы я посоветовал господам, которые не понимают, что можно делать в жизни, и скучают от безделья, окунуться хотя на минуту

в принужденной деятельности — где действуешь беспрестанно, но не там, куда душа просится!.. <sup>93</sup>

\*

Сиворицы 8 ч[асов]. — Ужасная пурга — едва подвигаются лошади, хотя едем в 6 лошадей; за нами тянутся несколько экипажей, пользуясь нашим фонарем, который едва зажгли, ибо дверцы примерзли. Извозчики в отчаянии. Жалкое создание человек: несколько капель замерзшей воды и движения воздуха достаточно, чтобы остановить все его намерения.

Как природа еще играет над человеком, царем своим. Где истолкование этих страшных вопросов? Так много писали о них книг, но ни один ответ меня не удовлетворяет. Одно только существо может ответить на это — но когда оно меня услышит? Горькая тьма! злее холодной вещественной тьмы; — через несколько часов взойдет вчерашнее солнце, и полузамерзшие люди оживут, воскреснут и забудут о сегодняшней ночи. Когда же воскреснет душа моя, когда пройдет ее мучительная ночь?

С какою горькою улыбкою я заметил, что родился в тот самый год, когда умер С. М!—\*) Когда-то какое широкое было бы поле для моей гордости! а теперь какое грустное чувство! Какое неизмеримое расстояние между мною и этим чудным человеком, которому все, все было ясно! — Не уж-ли крест мой — жить в вечном вопросе! Перерыть все, что только позволяли силы, и не шагнуть вдаль ни пяди; видеть вечное столкновение должностей противоречащих, быть уверенным, что должно отдать свой талан в куплю и удвоить его, и между тем беспрестанно бояться растратить его даром, страшиться каждого наслаждения

---

\*) Сен-Мартен, ум. 13 окт. 1803 г. (О. Ц.).

и между тем не находить никакого, которое бы удовлетворяло моему духу. О! узок путь твой, невыразимый! — а люди думают, что я на розах! Что всего сквернее, что никогда не можешь довольно от себя остеречься; так, н. пр., пишу я теперь и от нечего делать, а частью от избытка души — этих чувств пересказать мне некому — никто из друзей моих не в состоянии не только дать удовлетворительного на них ответа, но немногие и поймут их, — а между тем, между этими мучительными минутами, кто-то пишет в глубине души, что когда-нибудь эти листки попадутся кому-нибудь, и тот, читая, скажет: какие умные страдания были у этого человека! Тьфу, как гадка ты человеческая одежда. Если бы я не почитал грехом оставить свое призвание в этой жизни и своевольно переменить данное провидением, то давно бы бросился в какой-нибудь монастырь или пустынь; но избегать врага, не значит побеждать его; а между тем враг силен и искушает на каждом шагу; я предпринял истребить в себе чувство гнева; но в скольких случаях жизни гнев необходимое оружие, чтобы воспрепятствовать какому-нибудь мерзкому делу, чтобы поддержать исполнение долга! А в маловажных случаях жизни сколько раз надобно притворяться гневным! — Мы спешим в Петербург, я для службы, жена к матери; под Гатчиной беспокойно, советуют не ездить ночью, не боюсь за себя, но боюсь подвергнуть опасности тех, кто со мною; стараюсь засветло поспеть в Петер[бург]; на станциях запрягают по целому часу, я обещаю деньги, ничто не действует; один добрый человек подходит ко мне и говорит: деньгами ничего не поможете, надобно посильнее прикрикнуть; вот офицера ездят, как ругнут по-матерно, так лошади и явятся. Вот и совет моей философии. <sup>94</sup>

\*

Непонятное чувство возбуждается в нас при виде ночи, церкви, облаков, обрезающих безграничное пространство, моря. Исследуя это чувство, я нашел, что оно не иное что, как желание *смерти*, желание избавиться от всего этого земного, — на долго ли это чувство? вскоре нападает труд неумолимый, сухой, бесплодный — прощай Пoesия смерти — начинается проза жизни. <sup>95</sup>

\*

Я видел во сне (накануне я читал *Les bagnes et les prisons* Аппера и думал о виденных мною анатомических таблицах), что под моею рукою скелеты, распиленные черепа, приходят в движение и говорят (что? не помню) и это мне причинило удовольствие; вскоре воображение мне представило, что я рассматриваю гравюру старинного мастера и кажется подпись его имени обращается в него самого, разговаривает со мною, уверяет меня, что он писал эту картину — когда вдруг я начинаю вспоминать, что этот гравер сумасшедший — на пункте смертоубийства, в самую эту минуту глаза моего собеседника начинают гореть, я бегу от него, он гонится за мною, я спасаюсь за дверь, захлопываю ее за собою, приказываю спрятать ножи — с этим вместе я проснулся, я был встревожен, сердце мое сильно билось, и долгое время мне казалось, что все виденное мною во сне продолжалось. Такое состояние продолженное — не есть-ли состояние сумасшествия, и для того чтобы вылечить сумасшедшего, не надобно-ли разбудить его? <sup>96</sup>

\*

С летами я замечаю, что сделал в жизни большую глупость: я старался на сем свете кое что делать, и учился искусству кое что делать, — но забыл искусство рассказывать о том, что я делаю. Обращаясь на жизнь протекшую,



вижу, что довольно таки дел пошло с моей легкой руки, не считая не удавшихся. Я первый наложил руку на схоластицизм и классицизм, выговорил значение России в мире, чем теперь пробавляются многие, много изданий пошло с моей подпоркой, не одно мое сочинение бродит под именем других, и смешнее всего то, что ими иногда мне же глаза колят, как бы говоря: «вот бы де тебе что сделать?» — в мире чиновническом замечаю мой Ценсурный Устав 1828-го года и Права Авторской Собственности, о которой до меня никто и не думал, Положение о Дворянских Выборах, Положение о Компаниях на Акциях, Общество застрахования жизни, над которым все смеялись. Приюты, которых возможности никто никогда не хотел верить, — наконец, несметные разные вещи, которые пошли в ход, как, н. пр., Общество посещения бедных, Мариинский Институт, педагогические сухие работы, — книги для народа, о чем никто и не думал, и проч. и проч., что и сам забыл, — право — таки 20 лет жизни прошли не даром, прежней деятельности не считаю. — Однако же где тот добрый человек, который сказал бы мне: спасибо? — Не из того я хлопотал, — хлопотал я, чтобы заморить червяка, который сидит у меня в груди, — но все-таки глупо, — и тем более глупо, что многие разве нитку в иголку вдели в продолжении жизни — и *sempre bene!* — *benêt!* \*) все что выстрадано было тобою, все что взято с бою, — с другими и с самим собой, — все это не пролило ни капли внешней утехи в твою труженическую жизнь. Жить бы тебе на фуфу. Не приходилось бы тебе зачастую слышать толки о том, что ты сотворил, перед тобою же, как о деле, в котором ты нисколько не грешен. Не ужь-ли ни искры самолюбия мне не позволено в этом мире?

---

\*) И превосходно! — о глупец! — непереводимый каламбур. (О. Ц.).

Ведь есть некоторая связь между матерью и ребенком и связь на всю жизнь? <sup>97</sup>

\*

Я заметил к удивлению моему, что меня считают человеком довольно тонким. Кого я уверю, что вся моя тонкость состоит в том только, что я делаю то, что говорю, и говорю то, что думаю — ни больше ни меньше — в обрез. Правда, этим способом мне удавалось разрушить многие козни, но в житейском быту мало лишь видеть козни и обличать их; надобно уметь ими пользоваться — а этого мне не дано: *je ne suis pas homme à expédients.* \*)<sup>98</sup>

\*

Смеются надо мною, что я всегда занят! Вы не знаете, Господа, сколько дела на сем свете; надобно вывести на свет те поетические мысли, которые являются мне и преследуют меня; надобно вывести те философские мысли, которые открыл я после долгих опытов и страданий; у народа нет книг, — у нас нет своей музыки, своей архитектуры; медицина в целой Европе еще в детстве; старое забыто, новое неизвестно; — наши народные сказания теряются; древние открытия забываются; надобно двигать вперед науку; надобно выкачивать из-под праха веков ее сокровища. Там юноши не знают прямой дороги, здесь старики тянут в болото, надобно ободрить первых, вразумить других. Вот сколько дела! Чего! я исполнил только тысячную часть. Могу ли после етого я видеть хладнокровно, что люди теряют время на карты, на охоту, на лошадей, на чины, на леность и проч. проч.<sup>99</sup>

\*

---

\*) Я человек не изворотливый. (О. Ц.),

Как бы ни велик, как бы ни утомителен был каждодневный шаг упорной работы, падающий как Сизифов камень, — в результате остается одно, что произвел пользы каплю, которая, еще всего вернее, пропадет безвозвратно в обширном море общественной жизни, и на душе остается не только сознание своего ничтожества, но нечто худшее: тоска бессилия. Здесь причина зазорной апатии, в которую мало по малу впадают многие, кажется, и дельные люди.<sup>100</sup>

\*

Ложь в искусстве, ложь в науке, ложь в жизни были всегда и моими врагами и моими мучителями. Всюду я преследовал их и всюду они меня преследовали.<sup>101</sup>

\*

Есть люди очень счастливые; они ставят себя на пьедестал, и смотрят на себя с особенным уважением, замечают каждое свое слово, каждое движение и пускают этот капитал в рост посредством разговора и даже посредством автобиографий. Мне никогда не достает на это времени; как эти люди успевают рассказывать что они делают? Моя деятельность дробится на тысячи лиц и действий — и некогда заметить ее.<sup>102</sup>

\*

Судьба жизни не раз ставила меня в весьма близкие сношения с замечательнейшими организациями нашего времени (Д. Веневитинов, Грибоедов, Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Кольцов, Глинка и мн. др.). Вот что я извлек из изучения их:

1. Никакой труд, никакая наука не поставит человека бездарного рядом с человеком даровитым, но трудящимся.
2. Талант без науки — мужчина без женщины.
3. Наука без таланта — женщина без мужчины.
4. Наука не дает нового таланта, но дает возможность

довести тот, который есть, до крайней степени совершенства; она приводит в гармонию оркестр души, как бы ни был он плох.

5. Талант без науки вянет, как прекрасное растение без поливки, хотя никакая поливка не обратит репейника в розу.<sup>103</sup>

\*

Я лечу мою больную душу как иные лечат больное тело — сильным движением; а тело все остается больным; подумаешь человек бегаёт с радости, — а это по приказу доктора! — грустна и тяжела эта жизнь — как бы от нее уйти, улететь!..<sup>104</sup>

\*

Моя беда в том, что хочу дышать чистою совестью в гнилой атмосфере. Привыкшие к ней не понимают меня, как грязный лакей не понимает, за чем барин велит каждый день отворять форточку.<sup>105</sup>

\*

Никогда добро не остается без наказания.<sup>106</sup>

\*

Нет деятельности без самозаклания.<sup>107</sup>

\*

3 февраля мне рассказывали историю о ком то взятом в крепость — и как всегда это отразилось в моих снах. Ко мне также приехал полицейский офицер, также потребовал бумаг и объявил, что он должен везти меня в крепость. Мы поехали и долго искали где бы поместить меня в крепости; все не находили места — так я и проснулся в коридоре; только я очень был доволен собою, не рассердился, не раскричался и не струсил,

и только в душе чувствовал негодование за оказываемую мне несправедливость. Говорил я очень красноречиво, доказывал всю пользу моей особы и приводил примеры моей добросовестности, которые бы мне не пришли бы в голову на яву.<sup>108</sup>

\*

Я заметил, что в Петербурге называют либералами тех, которые не берут взятки и не докучают беспрестанно царю, промотавшись на вздор, с просьбами о пособии. Да — это либерализм во времени общей безнравственности и бестыдной наглости.<sup>109</sup>

\*

Петербургское общество преследует людей, замечательных по странности платья или экипажа, или занятий, словом всякого, кто замечен, как кочка на гнилом болоте, — но одевайтесь прилично, давайте балы, и вы можете отдавать на поругание свою жену, предать друга, не платить долгов, оттягать наследство, подличать сколько угодно, это все *обыкновенные, свойственные человеку слабости.*<sup>110</sup>

\*

Петербургское общество, как Петербургское солнце: греть не греет, — но покоробить мебели, переплеты, зазеленить стекла, обесцветить обои, — словом всякая гадость — это его дело.<sup>111</sup>

\*

Человек есть соединение весьма сложных физических, химических и физиологических явлений — эта простая истина многим еще не пришла в голову, хотя каждый знает, н. пр., что болезнь печени (часто эндемическая) решительно определяет нравственный характер человека.<sup>112</sup>

\*

Встретивши Дантеса (убив. Пушкина) в Бадене, который, как богатый человек и Барон, весело прогуливался с шляпой на бекрене, М[ихаил] П[авлович] три дня был растроен. Когда Графиня Соллогуб мать, которую он очень любил, спросила у него о причине его расстройства — он отвечал: «Кого я видел? Дантеса!» Воспоминание о Пушкине вас встревожило. — «О, нет! туда ему и дорога». Так что же? «Да сам Дантес! бедный! — подумайте ведь он — солдат».

Все это было в Мих[аиле] Пав[ловиче] не притворство; но таков был склад его идей. <sup>113</sup>

\*

Я на жизнь с людьми не гожусь; потому что бог дал мне довольно тонкости, чтобы видеть плутовство, но не столько, чтобы с ним бороться и не быть обманутым. Подумаешь, сколько раз на веку меня поддевали. <sup>114</sup>

\*

Люди вообще принадлежат к двум классам: *надоедал* и *надувал*; иные каким-то гермафродитством соединяют то и другое свойство. <sup>115</sup>

\*

Я стою на распутии двух миров — ученого и светского — и не знаю, который хуже. <sup>116</sup>

\*

Я начинаю убеждаться, что в мире люди делятся в отношении ко мне лишь на два рода:

а) На тех, что меня продали и оклеветали и

б) На тех, что еще меня не продали и не оклеветали — *покуда*. <sup>117</sup>

\*

Я люблю смотреть на дом, которого хозяин мне не знаком, я люблю читать книгу неизвестного мне автора, по-

тому что произведение человека все-таки лучше самого человека. <sup>118</sup>

\*

Я вспомнил анекдот, рассказанный мне матушкой; в ее время (т. е. около 1790 года) в Петербурге одна важная барыня, родственница Глазовой (Аграф. Петров.), наказывала свою девку следующим образом: обливала ее водою, и потом заставляла ее босую ходить по набережной в мороз, а сама из форточки ей кричала: «что? каково? бестия! каково?» — Таково тебе будет на том свете — кричала ей в ответ несчастная девка. — Теперь этого именно не делают, но Москов. Ген. Губ. Тучков мне сказывал, что никогда как теперь помещики не предаются насильному разврату со своими крепостными женками и девками. — «Кажется», говорил Тучков, «что они спешат остатками своей крепостной власти. Мои им убеждения тщетны». <sup>119</sup>

\*

Точно так же, как до 19 февр[аля] 1861 крестьяне в каждом акте Правительства — искали намека на свое освобождение, так теперь помещики ищут в каждом Правительственном акте — восстановление крепостного состояния. <sup>120</sup>

\*

Про Михайлова (распускавшего прокламации Герцена) в *Independance Belge* пишут, что он рассказал судьям: я был крепостным, и в детстве видел как секли моего деда за то, что мешал барину изнасиловать его дочерей — с тех пор я поклялся в вечной ненависти к дворянству; 19-е февраля 1861 умиротворило меня; но действия дворянства снова возбудили мою желчь — и вот от чего я пред вами. <sup>121</sup>

\*

Нигилисты на площади Кремлевской — на манер раскольнических прений. — Проповедуют крестьянам о недостаточности данной свободы. Какой то юноша (по рассказам) связал крестьянину руки и спросил: волен-ли ты? нет! отвечал крестьянин; он отпустил не много веревки, «а теперь волен-ли» — нет — отпустил еще больше, но так, что руки все оставались связанными — ну теперь? все нет. «Ну, так вот я сделаю, что будешь совсем волен» — и с этими словами совсем развязал руки. «Вот теперь ты волен, — можешь махать руками на обе стороны, и дать кому хочешь зуботычину». — Этого мало; завели речь о вере — крестьянин стоял за веру. «Хорошо», сказал нигилист, — с верою ты думаешь все возможно — сдвинь же Кремль в реку». — Этого нельзя — отвечал крестьянин. «А вот я так могу — положу бочек пороха под четыре конца — и повалится Кремль.»

Любопытно здесь вот что: действительно-ли так было, или это есть ловкое изобретение крепостников? — им бы хотелось и испугать Правительство, а вместе и подать повод к маленьким бунтикам для подкрепления своих проповедей. <sup>122</sup>

\*

Нет сомнения, что крепостническое направление идет из Петербурга — не были бы эти господа так смелы, а были бы только глупы. Опасно только, что эта нелепость приведет в азарт и помещиков других губерний и кончится тем, что крестьяне их поколотят. <sup>123</sup>

\*

Губернатор Ховен присутствовал в Губернском Правлении (во время оно) и, когда в споре показали ему Свод, он взял его и *сел* на него, говоря: ну где же теперь ваш закон? <sup>124</sup>

\*



Бенкендорф говорил Дельвигу, который стал ссылаться на закон: «закон для подчиненных, а не для нас». <sup>125</sup>

\*

Палажченко рассказывал мне следующий анекдот, которого он был очевидцем. Лет 30 тому некто Ходнев был в Рязани председателем Уголовной Палаты; состоялся приговор о наказании кого-то плетью. Прокурор не пропустил приговора, доказывая, что осужденный вовсе невинен. «И, батюшка, охота вам! ну что за беда, что его бы отшлепали, — а теперь надобно *определение вновь переписывать и подписывать*». <sup>126</sup>

\*

Энгельгардт рассказывал, что один из Губернских мировых Судей рассматривал дело о порубке и заметив, что одно дерево было *вырвано с корнем*, причислил это обстоятельство к краже со взломом и потому счел это дело себе неподсудным. <sup>127</sup>

\*

От 10 до 1 в засед[ании] 7-го Деп[артамента], от 1 до 3 на предвар[ительном] докладе 8 Деп[артамента], итого — пять часов непрерывной работы. Уже не под силу мне эта *крепостная* работа — хорошо было в старые годы, а не на 61-м году. <sup>128</sup>

\*

Последний день года — сколько было работы, а как мало успел я сделать такого, что бы могло остаться после меня. Портфели наполнены материалами и приготовлениями к работе — когда-то может быть возможной, может быть никогда. <sup>129</sup>

\*

В Сенате — совсем больной и с кашлем и на беду еще с зубной болью и флюсом, — но еще молодец, выдержал и заседание и предвар[ительной] доклад. <sup>130</sup>

\*

30-го июля 1866 г.

Сегодня мне клюнуло 62 года. Никогда не ожидал выжить столько, и если бы не нога — всем бы я был молодец. <sup>131</sup>

\*

Употребил обыкновенное и лучшее мое лекарство — выпался вдоволь. <sup>132</sup>

\*

Сегодня мне 63 года — уф! <sup>133</sup>

\*

О Москва! пернуть нельзя, — разом выведут историю. <sup>134</sup>

\*

Чудный город Москва. Как прежде в ней всякий был занят *чужим* делом. Я вижу мало народа, между тем я не могу чихнуть, чтобы об этом не было толков, — хорошо еще если не прибавят, что я от чиханья пошел плясать в присядку. — Неизвестные мне даже по имени люди знают все, что я делаю, когда встаю, что у меня за обедом, где у меня что стоит в кабинете — умора, да и только. <sup>135</sup>

\*

Самая утешительная и может быть единственно утешительная вполне мысль о сей жизни, есть та, что она когда-нибудь да кончится. <sup>136</sup>

Ты испил от источника жаждущих, и вечною стала жажда твоя. Как больно мне за прекрасное сердце твое. Оно должно надорваться рано ли, поздно ли.

Н о в а л и с к Ш л е г е л ю .

Капитан Миаули, дедушка Иринеи, Albert le Grand, Hoffmann II, etc, etc, etc, etc, и проч., и проч., и проч., а теперь Сиятельный Князь, важный сановник.

В то время, когда я знала и ведала, не только где вы и что с вами делается, — но даже что вы думаете и в каком тоне, мажорном или бе-мольном, находятся ваши мысли, ваши чувства, ваше внутреннее я... Да, где оно, это старое, гармоническое, поэтическое время?... «Non, non, vous n'êtes plus Lisette»\*) говорил Беранже своей прежней возлюбленной, встречая ее в блондах и бархате, в шляпе с перьями и блестящем экипаже... Нет, нет! вы больше не мой, Миаули, не сказочник, не сочинитель, Bukler valser, не гофманист, толкующий мне о привидениях, не мой *Одоенька*, а нечто важное, серьезное, государственный человек, — и потому я через *Indépendance Belge* \*\*) узнаю о вашем возврате на родину, и если бы не было газет, я бы

---

\*) Нет, нет, вы больше не Лизетта!

\*\*\*) В 1858 г. Одоевский ездил в Веймар депутатом от публичной библиотеки на юбилей Шиллера.

не ведала о вашем существовании . . . а лучше ли вам среди *грандёров*?.. легче ли сердцу.?.. счастливее ли вы?.. Нет, небось!.. и если б не *Савоська* порой услаждал слух ваш любимыми звуками Мендельсона и прочих, вы бы и не знали, среди своих забот и придворных должностей, что есть еще музыка на свете, что есть наслажденья, кроме *Анны* через плечо, и умственная душевная пища помимо вечеров с *Altezza* и *Durchlaucht* \*) своими и чужими!.. А я хочу пробудить в вас давно уснувшее эхо бывалых мелодий, хочу потрясти ваши воспоминанья, — омолодить, оживить вас хоть на пару часов. Вот вам, душенька *Одоевский*, вот вам две книжонки, которые напомнят вам многое и многих, уже не сущих, но прежде вам милых, вот вам *Лейпцигское издание* \*\*) моей души, потому что я помню вашу ненависть к стереотипам, и в ваше отсутствие берегла вам этот гостинец для встречи, как поэтическую хлеб-соль! Ваше имя является тут гласно и печатно единожды,<sup>187</sup> — но как часто оно подразумевается на разных страницах, запечатленных моими сердечными исповедями!.. Если вы только станете перелистывать эти два томика, то они возобновят в вас все силы молодости и воображенья, они напоят вас вашими собственными воспоминаньями, так часто шедшими об руку с моими!.. Наши общие друзья воскреснут перед вами; ваши субботы, мои обеды, то с *Глинкою*, то с *Листом*; *Мендельсон* и *Шуберт*, разыгрываемые у *Смирновой*, — ваши *confidences* \*\*\*) касательно ваших личных тайн — всё, всё тут, всё оживет, заговорит, запоет перед вами дивную, страстную, животворную песнь

---

\*) Высочествами (*altezza* — итальян.) и светлостями (*Durchlaucht* — немец.).

\*\*) «Стихотворения графини Ростопчиной». Изд. второе Спб. 1857 г. Изд. А. Смирдина (сына). Печ. Ф. А. Брокгауза в Лейпциге.

\*\*\*) Откровения.

старинны. — *A quelque chose l'amitié est bonne!* \*) пусть она послужит вам и мне какою-то магической *fontaine de jouvence!* \*\*) — а потом возьмите перо, и настрочите мне письмо, если не влюбленное и полумистическое, полуфантастическое, как встарину, то, по крайней мере, братское и дружеское, какого я ожидаю от вас, и которое будет отрадно мне среди холодного, грустного, положительного мира где я живу, вращаюсь, вывожу дочерей на бал, — и думаю, как бы их пристроить.

Да-с! *я вывожу двух дочерей*, — и эти слова картинно выражают вам мое полное преображение из женщины в машину с чепцом, — из существа свободного и мечтательного в светскую даму, исполняющую, с важностью нуля, утомительную должность *d'un chapeçon*, особы, восседающей чинно в больших залах до зари и рассуждающей... о тряпках с подобными ей маменьками и тетеньками. — *Aussi, c'est par un reste de coquetterie féminine que je veux que vous me relisiez, pour me voir telle que je fus, non telle, que je suis!* \*\*\*)

Кланяйтесь много княгине, расцелуйте себя самого, пожмите благородную лапу тернёва, возьмите аккорд на *Савоське*, и все вместе, муж, жена, орган, *tere-neuve* помяните любящую вас *envers et contre tous*. \*\*\*\*)

*гр. Евдокию Ростопчину.* 138

Да, ушло это старое гармоническое время и остались, по словам Тютчева, обращенным к Ростопчиной, лишь «горсть живых еще друзей, и столько милых, милых теней!» 139

---

\*) На что-нибудь дружба полезна!

\*\*) Источником юности.

\*\*\*) Поэтому, вследствие остатка женской кокетливости, я хочу, чтобы вы меня перечитали, чтобы увидеть меня такой, какой я была, а не такой, какова я теперь.

\*\*\*\*) Против всего и всех.

Сам автор данного письма, Евдокия Ростопчина умерла спустя три года.

Одоевский состарился, согнулся, волосы поредели, а по углам рта легли скорбные складки. Лишь глаза сохранили детскую ясность и невозмутимость и большой гладкий лоб, благодаря тому, что поредели виски, казался еще больше. Мысль о смерти является все чаще и чаще, но смерть не пугает, ибо невозмутимая ясность и философическое спокойствие — основное, что удалось выковать, вырастить в жизни. Кроме того пережито так много тягостного, что часто о смерти мыслится даже как об избавлении. Для проверки себя, своего отношения к смерти, Одоевский не раз возвращается к воспоминаниям о перенесенной им в июне 1854 г. холере. Он помнит, что самообладание не покидало его ни на одну минуту. Он продолжал работать, лежа в постели, диктовал поручения и свои замечания по различным делам и, как подлинный созерцатель, вел наблюдения за течением болезни. Когда жена зашла к нему на второй день, испугалась его вида и тому, что не узнала его голоса, Одоевский отправил тринадцать служебных пакетов. А потом, воспользовавшись выходом жены, указал доктору на судороги в ногах. Когда прошла икота, и больной думал, что все уже окончилось, он написал шутливое письмо к приятелю и потом раскрыл свою записную книжку и записал: «Эта болезнь сделала мне нравственную пользу, она дала мне возможность поближе взглянуть в моей душе: что такое для нее смерть? Я очень доволен моим экзаменом. Я убедился, что равнодушие к жизни и тенденция к смерти во мне не вспышка, не наемщик, а домовладелец. — Невольно, посреди полупредсмертной борьбы, — приходило мне в голову: жаль, что не кончено то, другое, — но основная мысль была ясная и веселая: «Наконец же все это кончится» — и роями проходили мне пред глазами все гадости кн. Галиц[ына] и Дурас[ова] и

других прочих и невольно я улыбался, помышляя, что наконец разлучусь же я с этими негодьями и обманщиками. Вот косвенная польза, которую негодяи приносят на свет, они помогают честным людям спокойнее умирать».<sup>140</sup>

Эти порывы горечи, эта тоска от непонимания и одиночества завладевают часто. Особо тягостен тон пренебрежения, легкой иронии, снисходительного смешка, взятый большинством — даже близкими. Немногие из современников разглядели подлинную широту его мысли, ее целеустремленность, мужественную действительность, — почти все видели в нем лишь литератора-дилетанта, химика поваренных наук, чернокнижника-бюрократа, сановника и филантропа-формалиста. Одним словом, чудного «немецкого колбасника». <sup>141</sup>

Я. П. Полонский, встречавший Одоевского и Веймаре в 1858 г., говорит о нем: «Свет глумился над его рассеянностью — он не понимал, что это не рассеянность, а сосредоточенность на какой-нибудь новой мысли, на какой-нибудь задаче или гипотезе... Князь Одоевский в своем халате, и не всегда гладко причесанный, многим казался или чудаком, или чем-то вроде русского Фауста. Для великосветских денди и барынь были смешны и его разговоры и его ученость. Даже иные журналисты, и те над ним иногда заочно тешились».

Согласно рассказу Полонского, к последним также принадлежал Иван Сергеевич Тургенев. Он часто с удовольствием читал стихи Соболевского о комаре и князе.

«Случилось раз, — читал Иван Сергеевич, стараясь произносить как можно серьезнее, но придавая комический оттенок своему лицу и повышению своего голоса: что с дерева упал комар» <sup>142</sup>...

Особо донимал незлобивого созерцателя своими шутками и эпиграммами его ближайший друг Соболевский. Малейший повод вызывал с его стороны злую шутку, потом

переходившую из уст в уста и всеми с удовольствием повторяемую. Незлобивые шутки Одоевский сам принимал с веселием и улыбкою. Так, Соболевский часто подсмеивался над Себастианоном князя. Этот инструмент обычно заводил, забираясь во внутрь органа, буфетный мужик Сидор. Зная любовь князя к музыке, он за добавочные труды потребовал и добавочной платы, грозя уходом. Соболевский сложил эпиграмму — речь Одоевского — Сидору:

С тобою, милый Исидор,  
Сиа́мские мы точно братья.  
Как буду музыкальный вздор  
Без помощи твоей играть я?

Для ут, ре, ми, фа, соль, ля, си  
Уход твой от меня ужасен:  
Какой прибавки ни проси,  
Вперед я на нее согласен. <sup>143</sup>

Эта эпиграмма Одоевскому так понравилась, что он второе четверостишие переложил даже на музыку — *Quatr in uno Canon*. Но все же часто острые и злые шутки Соболевского глубоко уязвляли Одоевского. Так, Соболевский не в меру подтрунивал над филантропической деятельностью князя. Глубоко обиженный и оскорбленный Одоевский обратился к нему с письмом, полным глубокой горечи: «Я тебе обязан бессонною ночью; я так был взволнован и рассержен невообразимою чепухой, которую ты изволил нести вчерашним вечером на выздоровлении, что мне стало жалко и тебя и себя. Тебя, потому что я спрашивал, за что ты осужден судьбою всегда портить дело самое близкое к твоему сердцу; себя — для каких благ мира я осужден, в течении пяти лет\*) жертвуя всеми моими собственными кровными занятиями, даже расстраивая свое небольшое состояние, отстреливаться во все сто-

---

\*) С 1846 г. Одоевский состоял Председателем Общества посещения бедных.



роны: с верьху, с боков, и с низу и испытывать огорчения всех возможных родов, ибо, вспоминая прошедшее, нахожу что не было рода желчи, которой бы я не выпил полною чашею. *C'est être dupe, par trop magnifique.* \*) К сожалению последнее горше первого». <sup>144</sup>

Горькую обиду в связи с деятельностью Одоевского в Обществе нанес ему и поэт Некрасов. До князя дошло, что в стихотворении «Филантроп» Некрасов имел в виду его. В этом убеждали и следующие иронические строфы:

... в столице есть отменное,  
Благородное лицо,  
Муж, которому подобного,  
Может быть, не знали вы:  
Сердца ангельски-незлобного  
И умнейшей головы.  
О народном просвещении  
Соревнуя, генерал  
В популярном изложении  
Восемь томов написал.  
Продавал в большом количестве  
Их дешевле пятака,  
Вразумить об электричестве  
В них стараясь мужика.

Далее повествовалось о том, как один нищий — «беспокойный человек» — прослышал о существовании в столице этого благодетеля-покровителя. Он добыл на путь-дорогу и приехал к нему за помощью. На приеме в передней он от волнения растерялся, разрыдался «вроде сумасшедшего предсительным лицом», а сительный, не долго думая, решив, что проситель пьян, раскричался, затопал, позвал двух огромных гайдуков, которые и выкинули «пьяницу» вон.

Мысль, что так расценилась его деятельность в Обществе, привела Одоевского в глубокое уныние, и он написал Некрасову 10 января 1860 г. письмо:

---

\*) Это значит попасть впросак — благодарю покорно (О. Ц.).

«Вот что случилось, любезный поэт, на этих днях, когда я, больной, сидя за фортепьянами переключивал на музыку Ваше прекрасное стихотворение: «прости».

Ко мне постучался...

один из тех добрых людей, которых так много на свете, и шепнул: «переверни страницу и найдешь описание человека, который писал об *электричестве для мужиков*, который гоняет нищих гайдуками и проч. и не умеет отличить голодного от пьяного и проч. и проч. — и все это будут тебе читать под носом, ибо ты, как литератор, верно, будешь на чтении». \*)

«Что это за известие? я всегда был того мнения, что всякий *публичный* — волею или неволею — человек есть нечто вроде *публичной девки* и должен быть готов на всякий трактament; этого правила я всегда держался — ссылаюсь на весь мир крещеный. Но дело вот в чем: и девку в таких случаях называют *по имени*, чтобы она по крайней мере могла отозваться как может; без имени же разбор труден: иное публика не отнесет к публичному человеку, а иное может отнести, и весьма. Попробуем же разобрать по пунктам:

«Есть-ли гайдуки?» — нет, а есть инвалид — сторож, который топит печи.

«Есть-ли передняя?» нет, а есть лишь каморка возле кабинета, куда всякий ходит и ходит без спроса.

«Топал-ли ногами?» иногда бы и хотелось, да ноги издавно еле держатся.

«Кричал-ли?» иногда бы и хотелось, да горло слабо и постоянно болит.

«Занимался-ли *публичною* благотворительностию?» — в этом грешен; был Председателем Общества посещения бедных, целых девять лет, каждый год по единогласной

---

\*) На первом литературном вечере, устроенном 10 января 1860 г. «Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым», Некрасов предполагал прочесть «Филантропа». (О. Ц.)

баллотировке 200-т человек; но полагаю, что за эти 9 лет многое простится мне на том свете. Грешнее меня тот, кто не знает, что такое было это Общество, как действовало, скольким и как помогало и как оно рушилось; кто не знает, что следы действий этого Общества до сих пор здравствуют и в оставшихся заведениях (довольно однако замечательных) и в нескольких сотнях лиц им призренных, возвращенных, воспитанных, и у которых не худо было бы спроситься, если уже на то дело пошло, действительно ли кто выходил от нас без рубля, (когда он был) или без ласкового слова...

«Писал-ли об электричестве для мужиков?» Хоть и не об электричестве, но грешен, писал именно для мужиков, и именно *о химических и физических предметах* и NB NB писал *один* во всей русской литературе. Впрочем, за этот неблагодарный грех также, полагаю, многое мне простится.

«Как же не умеет отличить голодного от пьяного?» протестую: пьяным, правда, не бывал, ибо, к сожалению, не имею к тому способности; — а голодным — случилось, и потому отличить одно от другого сумею безошибочно.

«Да с чего-же однакоже взялся весь анекдот?» а я почему знаю? в массе 18 тысяч семейств, на которых распространялось действие Общества, в продолжение 9-ти лет, было не без негодяев, и неблагодарных, и нахальных, и лживых.

Так, я вспоминаю, что когда-то один из них, действительно, меня рассердил, но только было то не в великолепной передней с гайдуками, а просто на Невском проспекте. Приняло Общество двух девочек с улицы в свое заведение, омыло, одело и стало кормить, лечить и учить. Раз, в Воскресенье, отец их (здоровый детина) попросил их отпустить к нему, а затем снял с них платье, башмаки и чулки, надел прежнее рубище и привел на Невский проспект; да на беду, не узнав, подвел детей прямо к Председателю, уверяя, что у них нет пристанища. Если бы Председатель, при такой проделке, не рассердился, то был бы мокрою курицей, чем

он никогда не был. — Если за такие проделки заступается поэзия — то остается лишь возложить упование на аллаха.

Вот моя исповедь, которую бы я сказал всенародно, — если бы был назван по имени, без церемоний, как подобает публичному человеку. Тогда, может-быть, пришлось бы сказать слова два по поводу гибели Общества, которое, смело могу выговорить, заслужило не упреков, но сохранило на всегда право на *полное и безусловное уважение* со стороны всех мыслящих и добрых людей, как по трудам своим, так и по страшным страданиям, им вынесенным, что как то, так и другое, — осталось незамеченным для нашей прозорливой литературы.

Представляю все это Вашему усмотрению, как говорят в канцеляриях. Я не хочу верить, что бы Вы имели намерение намекнуть на меня, — а намек попался просто под стопу или рифму; в тех отношениях, в которых мы с Вами находимся, Вы бы о таком *гнусном нарушении моей обязанности* сказали бы мне прямо; — и не такие вещи мне, как публичному человеку, приходилось выслушивать и не зажимал я ушей. Но обращаю Ваше внимание на то, что для публики все это не существует: она будет видеть лишь *те признаки*, по которым к фантастическому лицу можно приложить *имя*, — волею или неволею, — довольно известное. Подумайте о том результате, который, верю, Вам самим будет и неожиданным и неприятным, — по его действию в публике». <sup>145</sup>

Некрасов в тот же день поспешил ответить Одоевскому письмом, в котором заверял, что он в своем «Филантропе» ни в каком случае не думал его изобразить. Он сообщал, что лишь вывел «черту современного общества», а потому совесть его была и остается спокойной.

Но все это, в общем, мелкие уколы. Травля зачастую осуществлялась шире, удары были больнее, наветы грубее. Так, в газетке «Будущность», издававшейся в Париже

российским политическим эмигрантом князем Петром Долгоруким, автором, что сейчас с несомненностью доказано историком П. Щеголевым, подметного диплома со званием рогоносца Пушкину, в том же 1860 г. появилась характерная по лживости статейка. Одоевский ее, снабдив своими примечаниями в тексте (у нас приведены курсивы) переписал в дневник, бывший по его завещанию под запретом и ставший доступным лишь со времени революции. Характерно, что здесь Одоевский, — честнейший и искреннейший, — первый со всей категоричностью назвал Долгорукова автором гнусного диплома, приведшего к трагической гибели Пушкина.

«Князь Одоевский, ныне единственный, и весьма жалкий представитель древнего и знаменитого рода Князей Одоевских, личность довольно забавная! В юности своей он жил в Москве, усердно изучал немецкую философию, кропал плохие стихи (*неповинен*), производил неудачные химические опыты (*т. е. учился химии*) и беспрестанным упражнением в музыке терзал слух всем своим знакомым. В весьма молодых летах он женился на Ольге Степановне Ланской, старшей его несколькими годами, женщине крайне честолюбивой (!) Она перевезла мужа в Петербург, и до такой степени приохотила его к петербургским слабостям и мелким проискам (!), что при пожаловании своем в камер-юнкера, Одоевский пришел в восторг столь непомерный, что начальник его, тогдашний министр юстиции Дашков (*никогда в юстиции не служил*), человек весьма умный, сказал: «вот, однако, к чему приводит немецкая философия! (*Экий вздор — я не ожидал моего камер-юнкерства и когда выразил мое удивление Дашкову, он мне сказал: que voulez vous—c'est une convenance*). \*)

«Одоевский бросался на все занятия (*виноват:*); да-

---

\*) Что ж поделать — таков обычай (О. Ц.)

вал музыкальные вечера (которые брали приступом); писал скучные повести (может быть, только их нет уже в торговле и все они переведены на все языки) и чего уж не делал (даже не пускал к себе в переднюю таких негодяев, как Петр Долгорукий)! По выходе его Пестрых Сказок знаменитый Пушкин (тот самый, к которому анонимные письма писал тот же Долгорукий, бывшие причиной дуэли) спросил у него (я тогда вовсе не был еще знаком с Пушкиным): Когда выйдет вторая книжка твоих сказок? (мы с Пушкиным были на вы). — Не скоро, отвечал Одоевский, ведь писать не легко! — а коли трудно, за чем же ты пишешь? — возразил Пушкин (Такого разговора не было вовсе и не могло быть — Пушкин сам писал с большим трудом, в чем сам сознавался и чему доказательство его черновые стихотворения. — Пушкин уважал меня и весьма дорожил моими сочинениями, и печатал их с признательностию в Современнике). Ныне Одоевский между светскими людьми слывет за литератора, а между литераторами за светского человека. Спина у него из каучука (ну уж этого никто на Руси, кроме подлеца, не скажет) — жадность к лентам и к придворным приглашениям непомерная (ну уж убил бобра) и постоянно извиваясь то на право, то на лево он дополз (!) до чина гофмейстера. При его низкопоклонности, украшенной совершенною неспособностью ко всему дельному и серьезному, мы очень удивимся, если, при существовании нынешнего порядка (или правильнее: беспорядка) вещей в России еще лет десяток, не увидим Одоевского Обер Гофмейстером и членом Государ. Совета».

Я посылаю Петру Долгорукому следующий ответ:

Стихов не писал,  
Музыкой не надоедал,  
Спины не сгибал,  
Честно жил, работал,  
Подлецов в рожу бивал,

от чего и теперь не отказываюсь при первой встрече.

Но что пользы! если я ему прострелю брюхо, все таки его клевета останется без ответа. Где писать? в наших Журналах нельзя, ибо запрещается говорить о запрещенных книгах. За границей? где? Неужели послать в Колокол? Странное положение, в которое ставят нас Ценсурные постановления». <sup>146</sup>

Действительно, положение создалось тягостное, — обвинение и наветы, результат многолетнего «каторжного» труда — опровергнуть было невозможно. Куда писать князю, гофмейстеру — неужели в «Колокол» Герцена? И, в конце концов, гневливые строки, полные глубокой обиды от непонимания, несправедливости, большей частью заносились лишь в интимный дневник и редко, редко когда проскальзывали в его статьях или письмах

Ради отдыха, все чаще и чаще Одоевский уезжает в свое маленькое имение Ронгас в Выборгской губернии — «кусочек камня среди вод». Но здесь, несмотря на поездки по морю, купание, рыбную ловлю и вечные перестройки, Одоевский, без общественной кипучей деятельности, без толчеи вечных посетителей, без окружения дружественного, начинает тосковать. И тогда он созывает к себе своих друзей — отправляет послание, которое предлагает прочесть во всеуслышание:

«Дошли до меня, друзья, недобрые вести, будто бы вы отложили попечение приехать подышать ронгаским воздухом и познакомиться, или возобновить знакомство с его скалами, морями и прочими тому подобными вещами... На что это похоже?... Вы войдите только в мое положение: приносят мне корзины клубники, малины, грибов, каких в Петербурге не показывают и за деньги, а мы только тужим: где наши петербургские друзья? Присылают мне ящик хереса-râle, и я ума не приложу, как мне распить одному этот бледно желтый напиток? Рыба сама наскакивает на удочку — некому помочь вытаскивать! Рябчики и молодые тетерева

чуть не жаренные, падают с облаков — некому поднимать их. Помогите, друзья, в такой беде. Фридрих с погребом, Вильгельм с парусами приходят в отчаяние; даже «Кока» (собака) смотрит все на дорогу и машет хвостом в нетерпеливом ожидании. И из чего все хлопоты? Стоит взять четвероместную коляску, а две и того лучше, подорожную до Раианоки (а не то и без подорожной), сели по утру, вечером вы в Ронгасе, где вас ждут и свежие постели, и свежее море, и моя, всегда свежая дружба!»<sup>147</sup>

Сохранилась не только свежая дружба, но и свежий мыслящий человек, юношески любящий человечество, человек поразительного трудолюбия и огромной настойчивости.

Ничто жизненное, молодое не уходит от него, и попрежнему в его записях или дневниках заносятся рядом с размышлениями философического характера, рядом с записями о физических, химических и проч. явлениях — подслушанный на московской улице разговор двух баб или «приветствие солдата старому знакомому с употреблением матерных слов».<sup>148</sup>

\*

В 1859—60 гг. Петербург блистал своими балами, и всюду на них присутствовал Одоевский, худощавый, седой с продолговатым лицом, украшенным бакенбардами, с упрямым подбородком и мягкими глазами созерцателя. На официальных вечерах он в виц-мундире, в белом галстуке и орденах, на частных — в черном фраке, а у друзей в черной бархатной тужурке, ошитой тесьмой. По мягкости своей походки, по изысканной вежливости, всегда при взгляде на него вспоминаешь полные торжественности заседания Общества Любителей Российской Словесности в 20 г. в Москве, когда Одоевский — стройный тоненький юноша, красивый собой, в узеньком фрачке темно вишневого цвета с сенаторской важностью, которой и тогда уже он отли-



чался, разводил дам, почтительно указывая им назначенные места, и потом останавливался с края фланговым наблюдателем порядка во время чтения.<sup>149</sup> И ныне он является лишь наблюдателем, который разными уловками стремится уклониться от участия в пустой светской болтовне.

\*

Вскоре после крестьянской «реформы» 19 февраля 1861 г. — огромного сдвига в социальных условиях русской жизни — Одоевский решил переехать в Москву. Он в этой реформе видел завершение, исполнение своих чаяний, своей почти полувековой идейной борьбы. Сейчас он считает возможным порвать с ненавистным ему придворно-крепостническим Петербургом и переехать в любезную для Владимира Федоровича особняковую Москву, которая притягивала его по воспоминаниям юности.

В 1862 г. Одоевский после долгих хлопот был назначен сенатором в Москву, и его старые приятели 23-го мая в небольшом обществе, человек пять или шесть,<sup>150</sup> встретили князя в Ново-Троицком Московском трактире обедом, на котором за заздравным бокалом было сказано: «Старик любезный, Гораций, воспевал:

*Otium divos rogat in patienti  
Prensus Aegeo, simul atra nubes  
Condidit lunam.*

(в переводе Дмитриева:

Покоя просит у богов пловец,  
Застигнутый в Егейском бурном море).

«...Нашему доброму другу не однажды пришлось испытать бурю: сорок почти лет утлая ладья его носилась, погрязая, по страшному Петербургскому болоту, на которых бури бушуют, однакож, грознее равноденственных...

«Почтим и твердость, с которою он оттолкнул от себя

обоятельную Невскую Калипсу и доказал торжественно свою верность нашей матушке Москве». <sup>151</sup>

В честь гостя Лонгинов импровизировал следующие стихи:

Для матушки Москвы наш друг оставил Север,  
С ним возвратилась нам счастливая пора;  
Так закричим: Одоевский *veg ever!*  
Одоевский, *vivat!* Одоевский — ура. <sup>152</sup>

Первое время по приезде думалось Владимиру Федоровичу, что для него начнется «новая жизнь, менее мятежная, и больше останется времени для внутренней жизни». <sup>153</sup> И старик позволял себе даже выспаться вдоволь. Но этим мечтам не суждено было осуществиться. В связи с работой в Сенате, Одоевскому приходится заняться юриспруденцией и изучать Свод законов. Добросовестный и упорный, он с юношеским жаром начинает изучать юридические науки. Работая в Сенате, он стремится внести систему и порядок в судопроизводство, он полон аккуратности и точности. Каждое утро, в 10 часов, раньше всех являлся Одоевский в Сенат, и вслед за ним являлся огромный портфель его, в роде ларца или чемодана, с делами и записными книгами, которые он вел с беспримерной аккуратностью и терпением, отмечая в них ход каждого производства и все его особенности. Надолго еще по окончании присутствия, нередко до вечереи, князь оставался в Сенате, занимаясь чтением сенатских журналов и объяснениями с делопроизводителями. <sup>154</sup> А вечером, так же, как в Петербурге, тотчас по приезде у него начали устраиваться вечера, но уже по пятницам. Здесь уже нет навеки ушедших Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Кюхельбекера, Белинского, Глинки и Евдокии Ростопчиной и многих, многих других «замечательных организаций нашего времени». Сейчас здесь уже другие люди — Островский, Майков, Достоевский, Фет. Но здесь попрежнему мы

можем встретить самое различное общество, — на ряду с великосветской красавицей, приехавшей в вырезанном лифе, — учеников Консерватории, одетых во что бог послал, а рядом с ними расфранченных лифляндских баронов. Одоевский потчует своих гостей, согласно старым привычкам, каким-нибудь диковинным блюдом, чай он разливает сам и педантично учит: Сначала надо класть сахар, потом лимон, потом налить горячей воды и уже потом крепкого чаю.<sup>155</sup>

Канун 19-го февраля каждого года Одоевский, веруя в спасительность для России крестьянской реформы, отмечает торжественным ужином, на котором князь уже не боится превозгласить тост в честь «несчастнейшего из людей — русского мужика».

Изобретения продолжают попрежнему и в областях акустики, и гастрономии, и домашней жизни. Сейчас Одоевский занят новыми вопросами: как топить печки, жарить кофе и увеличивать силу звука. 26-го февраля 1864 г. он устраивает у себя крестины законченного энгармонического клавесина.

В 1864 г. вышло «Довольно» Тургенева — лебединая песня российского дворянства. «Полно метаться, полно тянуться, сжаться пора» — писал Тургенев. «Пора взять голову в обе руки и велеть сердцу молчать. Полно нежиться сладкой негой неопределенных, но пленительных ощущений; полно бежать за каждым новым образом красоты; полно ловить каждое трепетание ее тонких и сильных крыл. Все изведано, все перечувствовано, много раз... Устал я... одно остается человеку, чтобы не погрязнуть в тине самозабвения... самопрезрения: спокойно отвернуться от всего, сказать: довольно и, скрестив на пустой груди ненужные руки, сохранить последнее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознания собственного ничтожества». <sup>156</sup>

Одоевский, шестидесятилетний старик, в ответ на это произведение глубочайшего пессимизма пишет полное юношеской бодрости и веры «Не довольно», где по пунктам возражает разочарованному Иерониму российского дворянства.

«Прочь уныние! прочь метафизические пленки! не один я в мире, и не безответен я пред моими собратиями — кто бы они ни были: друг, товарищ, любимая женщина, соплеменник, человек с другого полушария. — То, что я творю, — волею или неволею, приемлется ими; не умирает сотворенное мною, но живет в других жизнию бесконечною. Мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет; я привел в колебание одну струну, оно не исчезнет, но отзовется в других струнах гармоническим гласовным отданием . . . Не беда, что мы стареемся . . . и в последние минуты, мы не скажем России, как гладиаторы Римскому кесарю: «умирая, мы с тобой раскланиваемся»; но припомним . . . Go a head! never mind, help yourself!—что по-русски переводится: «брось прохладушки, неделанного дела много!» <sup>157</sup>

Передовая революционная общественность выстрелом Каракозова, вслед за Одоевским, также по своему сказала: неделанного дела много. А Одоевский, пожалованный в эти годы российским самодержавием в первоприсутствующие в Сенате и Владимирской звездой, целиком в круге своих интересов — в неутомимом труде. С этой стороны поражает одно из его писем от 20 сентября 1868 г., которое показывает человека кованой силы, неугасаемой энергии: «Почерк свой также можно улучшить и сделать из него доходную статью; с молодости я писал весьма неразборчиво — поэтически; но обстоятельства жизни убедили меня в невыгодах и неудобствах этой привычки; будучи уже на службе, я выучил себя писать четко, для этого я приказал себе в продолжение целого года не писать ни одной строчки чего-бы то ни было иначе, как отделяя одну букву от другой и отнюдь не свя-

зывая их по прежнему; Этот простой способ выучил меня писать четко; отчего теперь, и на старости, и с плохими глазами, я пишу некрасиво, но четко, даже связывая их. Привожу Вам этот пример в доказательство, что нет труда, который бы полезно было делать кое как, а в этом весь секрет».<sup>158</sup>

В это время Одоевский изучает стенографию, интересуется делом тюремной реформы, упорно работает в области древней русской музыки, посещает лекции проф. Любимова по физике и в 1868 г. пишет по поводу этих лекций статью, которую издает отдельной брошюрой. Здесь он печалится на недостаток в России знания и бросает прозорливый взгляд в будущее.

«Но будет время — лишь бы оно поскорее пришло, — когда во всех и в каждого проникнет убеждение, что в России все есть, а нужны только три вещи: наука, наука и наука; во всех концах нашей великой земли раздадутся всенародно и общедоступно умные речи ученых людей и русских и иностранных; учредятся библиотеки, физические кабинеты, химические лаборатории, для всех открытые и в уровень науки... Тогда машинистами на фабриках, на железных дорогах, на пароходах будут преимущественно русские люди; тогда научившийся мужичок будет заправлять деревенскими лакомобилями, да сам еще приспособит их к местному делу».<sup>159</sup>

Но главное свое внимание в эти года он направляет на соби́рание произведений древней и народной музыки и все более и более проникается ее духом. Он попрежнему посещает концерты и следит за всем новым в русской музыкальной жизни. Незадолго до смерти он сошелся с П. И. Чайковским, тогда начинающим композитором, разглядел его талант, прозрел его будущее и записал в свой дневник: «На репетиции «Воеводы» Чайковского. Эта опера — задаток огромной будущности для Чайковского».<sup>160</sup> У последнего же образ Одоевского так запечатлелся: «Это одна из самых светлых

личностей, с которыми меня сталкивала судьба. Он был олицетворением сердечной доброты, соединенной с огромным умом, и всеобъемлющими знаниями, между прочим, музыки. За четыре дня до смерти он был на концерте, где исполнялась моя оркестровая фантазия «Фатум» — очень слабая вещь. С каким благодушием он мне сообщал свои замечания в антракте. В Консерватории хранятся «тарелки», подаренные мне им и им самим отысканные где-то. Он находил, что я обладаю умением кстати употреблять этот инструмент, но был недоволен самим инструментом. И вот, чудный старичок пошел бродить по Москве, отыскивать тарелки, которые и прислал при прелестном хранящемся у меня письме». 161

Старичок же в своем письме благодушно сообщает молодому композитору, что он просит позволения поднести тарелки, в виду того, что театральные зазубрены и в награду за мастерское сочинение музыки «Воеводы». И в заключение рекомендует в случае, если тарельщик не сумеет как должно обращаться с ними, наказать его «поелико это инструмент турецкий — *alla turca*, т. е. посадить на кол».

Сам Одоевский намеревается в это время выйти в полную отставку и начать писать свои записки.

Однажды вечером, 23-го февраля 1869 г., он прослушал лекцию П. А. Безсонова о русских песнях и почувствовал себя утомленным. Воротясь домой, проспал он долго и проснувшись записал в свой дневник: «Воротился домой с ознобом и болью в бедрах, так что с трудом мог раздеться».

Записи следующих дней сделаны уже дрожащими детскими каракулями.

*24 понедельник.* Совсем болен, сильный озноб, икота, боль в бедрах. Шнейдер электризовал меня и советовал улечься в постель, что я и сделал и предаюсь сну — лучшее мое лекарство (отправка пакета определений в Сенат).

25 вторник. Боль в бедрах менее, но икота — непрерывная. Какая? А мне то обещанную острую болезнь, — или временная.—Приходит ко мне испуганный Дмитрий Васильевич, \*) который узнал о моей болезни в Консерватории... Соболевский. Клистир не подействовал. Икота мешает сну.<sup>164</sup>

Когда приходят друзья, он продолжает еще беседовать о любимом своем предмете — древней музыке с ее знатоком священником Разумовским. Но икота возобновляется. Тогда Одоевский, по своему обыкновению, обратился к медицинскому словарю и прочел статью об этой болезни. Лег спать спокойно. Ночью вдруг начался бред — послушалось какое-то рассуждение о музыке, поутру в четверг стало хуже, он не приходит в сознание и в 4 часа пополудни 27 февраля умирает.<sup>165</sup>

\*

...«я знаю вашу дружбу к чудесному Одоевскому и я считаю своей обязанностью говорить с вами о нем.

В воскресенье, вернувшись с публичной лекции о народной русской музыке, он ощущал сильный озноб.

По предписанию своего врача исключительно из предосторожности, он провел понедельник в постели. Я узнал об этом во вторник и я попросил нашего доктора спуститься ко мне, чтобы узнать в чем дело... Доктор назвал мне болезнь по латыни и уверил, что это сущие пустяки. Он мне заметил, что Одоевский, подобно ребенку, ослабевает при малейшем недомогании; зная его в течение 48 лет, я уверял доктора, что тут есть привередничество. — Через час я поднялся и застал больного в постели без малейшего признака лихорадки, его собаки ластились к нему. Мы беседовали о том, о сем, я поддразнивал его по своему обыкновению. Я принес

---

\*) Разумовский. (О. Ц.).

с собой каталог Норова; \*) он рассмотрел его и хотел оставить у себя, но я отказался, находя, что в настоящее время ему вредно заниматься серьезными вещами. Пришел Разумовский, они рассуждали о музыке и Одоевский дал ему на просмотр черновой набросок двух работ своего сочинения о классификации звуков на основании вычислений. Разумовский ушел около 4 часов; ушел и я, посоветовав Одоевскому не бодрствовать в обычное время его предобеденного сна. В среду я ему писал: *что икота? какво дрыхнул?* (я забыл вам сказать, что накануне он часто икал, что его очень стесняло, но не возбуждало ни в ком тревоги). Княгиня мне ответила: *не перестала, дрыхнул изрядно.* Желая подняться к нему, я велел спросить, есть ли кто-нибудь там. Меня уведомили — *Смотритель дворца Великой княгини Елены с ним работает (поверял счеты).* Спустя два часа я снова запросил. «Он занят с Разумовским нотами», — ответил мне мой человек. В то время, когда я собирался в клуб обедать, я узнал, что он заснул в свое обычное время. За обедом в клубе я почувствовал себя плохо и вернулся домой около 10 часов; чтобы терпеливо дожидаться времени сна, я послал наверх за газетой. «*Нельзя, у князя, а князь лег почивать*». Каково было мое удивление, когда в четверг утром мой человек мне сообщил, что князь проснулся в час ночи, что он почувствовал себя плохо, что послали за доктором около 6 часов, что он бредил *о крюках*, что он больше не говорит, что применяли лед, горчичники и поставили много пиявок. Доктор, узнав, что я проснулся, прибежал ко мне и сказал, что никогда он не встречал воспаления мозга такой силы и что нет никакой надежды!!

Мы послали за несколькими врачами, но благодаря маслянице не было никакой возможности их найти. Пришел один

---

\*) Я имел в виду статьи о Бруно, чем Одоевский некогда много занимался.



около 3 часов, наш доктор посоветовался с ним и они решили сделать больному кровопускание. Ему пустили две чашки крови почти совсем не испорченной. Кровопускание не имело никакого действия, и около 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> часов наш бедный друг испустил последний вздох в присутствии графа Толя и одного из племянников княгини (Вразский). Это было 27 февраля. Итак, его последние слова (уже в бреду) были о *крюках*. Он умер на своем посту без больших страданий, если не считать затрудненного дыхания. В гробу — его лицо спокойно, но очень серьезно.

Никто лучше меня не знает достоинств этого прекрасного человека. В течение 48-летней дружбы я ни часу не провел с ним, *чтобы не дразнить его — и никогда, не на секунду — мне не удалось этого сделать ничем!* Он следовал принципу: *будьте яко дети* во всем и для всего, никогда об этом не думая и даже не подозревая.

Весь ваш С. Соболевский.

28 марта 1869 г.

Вещь довольно странная! Вследствие смерти своей сестры, княгиня объявила, что ее пятницы прекращаются и возобновятся только 28 февраля!» <sup>164</sup>

<sup>1</sup> См. В. Зомбарт «История экономического развития Германии в XIX веке». Изд. Брокгауз-Ефрон, стр. 19. Характеристика этих настроений см. также: Ф. Меринг «История Германии с конца средних веков». Гиз. М. 1920 г. ч. I-я, стр. 80—116.

<sup>2</sup> «Исповедь Бакунина». Матер. для биографии Бакунина под ред. Полонского, т. I, стр. 104—105. См. «Под знам. Маркс.» 1924 г. № 4-5, стр. 69.

<sup>3</sup> К. М а р к с — «Святой Макс». Гиз., стр. 160. См. «Под знам. Маркс.». Ibid, стр. 66.

<sup>4</sup> «Русская История», т. IV, стр. 44. Характеристика этих настроений дана у Л. Войтоловского: «История русской литературы XIX и XX вв.», ч. I, Гиз., 1926 г., стр. 56.

<sup>5</sup> См. В. Ж и р м у н с к и й. Немецкий романтизм и современная мистика. Спб. 1914 г., стр. 197—198.

<sup>6</sup> Отчет Имп. Публ. Биб. за 1893 г., стр. 69—73 приложение. См. П. Сакулин. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Т. I, ч. II-я, стр. 439—440.

\*) О б о з н а ч е н и я: п. — переплет, л. — лист, об. — оборотная сторона листа, р. — рукопись, авт. — автограф, коп. — копия, Од. — Одоевский.

<sup>7</sup> Письмо от 14 декабря. П. 15, л. 86, 86 об. Неопубликовано. См. «Аполлон Александрович Григорьев». Мат. для биографии под ред. Влад. Княжнина. Птг. 1917, стр. VIII (предисловие).

<sup>8</sup> Бум. Од. в Рукоп. Отд. Рос. Пуб. Библиотеки. П. 97 за 1869 г. Напеч. в «Рус. Старине». 1904 г., апрель, стр. 206.

<sup>9</sup> Переписка Пушкина под ред. В. И. Саитова, т. III, стр. 397. О взаимоотношениях Пушкина и Од. см. П. [Сакулин. Ibid. т. I, ч. II, стр. 321 — 330.

<sup>10</sup> Переп. Пушкина. Ibid., т. III, стр. 397.

<sup>11</sup> См. «Рус. Архив» 1864 г., стр. 821.

<sup>12</sup> Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока, т. I, стр. 228—229. О взаимоотношении Гоголя и Од. см. П. Сакулин. Ibid., стр. 333—340.

<sup>13</sup> См. Л. Гросман «Путь Достоевского». Лнг. 1924., стр. 50.

<sup>14</sup> «Северные Цветы» на 1832. Спб. 1831. Стр. 47—65. Подпись: ь, ъ, й. (Опечатки на стр. 50, 52 и 65 оговорены на стр. VII об.)

<sup>15</sup> «Русские Ночи» под ред. С. А. Цветкова. «Путь» 1913 г., стр. 187—198. С. Цветковым в это издание были перенесены поправки из экземпляра подготовленного Од. второго издания. Бум. Од., п. 67, 68, 69. Мною сызнава выверен текст и внесены дополнительные правки. Впервые рассказ напечатан: «Северные Цветы» на 1831 год. Спб. 1830, стр. 101—119. Заглавие: «Последний квартет Бетговена». Подпись: ь, ъ, й.

<sup>16</sup> «Московский Наблюдатель» за 1835 г., ч. II, май, стр. 55—112, с датой: Ревель, 1834; за подписью Безгласный и с примечанием: Из неизданной книги, *Дом Сумашедших*. Посвящений и эпитафий в тексте «Русских Ночей» нет.

<sup>17</sup> Сочинения князя В. Ф. Одоевского. Изд. книгопродавца Иванова. Спб. 1844 г. ч. II, стр. 59—103, с датой 1835 г.

<sup>18</sup> Ibid., ч. III, стр. 22—40. Дата 1838 г. Впервые напеч. в «Литер. Приб. к Русскому Инвалиду» на 1838 г., № 40, стр. 781—785, за подписью: Кн. В. О.

<sup>19</sup> «Княжна Мими». Ibid., ч. II, стр. 287—354, с датой 1834 г. В первый раз был напеч. в «Библиотеке для Чтения», 1834 г. т. VII, кн. 1.; «Княжна Зизи». Ibid., ч. II, стр. 355—436, с датой 1839. В первый раз напеч. в «Отечественных Записках», 1839, т. I, отд. III, стр. 3—70.

<sup>20</sup> Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, т. IX, стр. 17.

<sup>21</sup> «Новоселье», ч. II. Спб. 1834, стр. 369—402, за подписью: ь, ъ, й. Безгласный. Этот текст сверен с печ. экземпляром п. 80, стр. 61—77.

<sup>22</sup> Полную библиографию отдельных частей этой утопии и всю

работу над текстом можно проследить в Примечаниях, приложенных мною к изд. «Огонек» Москва 1926 г., стр. 62 — 64. В настоящем издании я нашел излишним повторять уже опубликованную сводку материала.

<sup>28</sup> Koenig. «Literarische Bilder aus Russland». Stuttgart und Tübingen. 1837. S. 210 — 211.

<sup>24</sup> Я. Л е н ц. Приключения Лифляндца в Петербурге. Рус. Архив 1878 г., тет. 4, стр. 440.

<sup>25</sup> «В память о кн. В. Ф. Одоевском». Москва, 1869. Восп. М. Погодина, стр. 52 — 53.

<sup>26</sup> И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Изд. под редакцией Иванова-Разумника. «Academia» Лнг., 1928 г., стр. 148.

<sup>27</sup> «В пам. о кн. В. Ф. Одоевском». Восп. В. Сологуба, стр. 90, и М. Погодина., стр. 57.

<sup>28</sup> См. Восп. Юрия Арнольда. Москва. 1892. Вып. II, стр. 199.

<sup>29</sup> И. И. Панаев. Ibid., стр. 148 — 149.

<sup>30</sup> Ю. Арнольд. Ibid., стр. 201 — 202.

<sup>31</sup> См. Я. Л е н ц. «Рус. Архив». 1878, тет. 4, стр. 442.

<sup>32</sup> «Воспоминания графа Вл. Алекс. Сологуба», Спб. 1887 г., стр. 138.

<sup>33</sup> Рукоп. заметка Од., относ. к 1859 г. П. 15, л. 8, об.

<sup>34</sup> Рукоп. зам. Од., относ. к 1850 г. П. 48, л. 144 и п. 95 л. 32; коп.

<sup>35</sup> «Восп. гр. Вл. А. Сологуба», стр. 137 — 138.

<sup>36</sup> И. И. Панаев. Ibid., стр. 151 — 152.

<sup>37</sup> Эпиграмма печ. по рукоп. экземп. в арх. Од. См. Русский Архив 1878, кн. II, стр. 56 — 57; 1888, кн. III, стр. 296 и 1900, кн. II, стр. 257 — 258. В восп. Я. П. Полонского — «Нива» 1884 г., ч. XVII, стр. 87, текст с некот. изменениями. Так же в изд.: С. А. Соболевский «Эпиграммы и экспромпты» под. ред. В. В. Каллаша. Москва 1912, как осн. текст на стр. 36, так и 2 варианта на стр. 118 — 119, несколько отлич. от прив. нами текста.

<sup>38</sup> П. 83. л. 5, 5 об, 6 — 8. Примеч. к статье «О нападениях Петербургских журналов на Русского поэта Пушкина». 1836 г. Напеч. в Русском Архиве 1864 г. стр. 824 — 831.

<sup>39</sup> См. Записки А. О. Смирновой. Спб. 1895 г. ч. I, стр. 57 и 273.

<sup>40</sup> Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринею Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным. Спб. 1833, стр. XI — XIV.

<sup>41</sup> Бум. Од., п. 97, датировано: «15 Генваря 1848 г.».

<sup>42</sup> П. 46, л. 60 об.

<sup>43</sup> П. 100, л. 27. Коп. п. 21. Зап. тетрадь № 18, стр. 12 — 13.

<sup>44</sup> П. 16, л. 261.

- <sup>45</sup> П. 54, л. 4.
- <sup>46</sup> П. 54, л. 32.
- <sup>47</sup> П. 8 л. 17, 17 об. Не законч. статья: «Закулисные проказы в роде преступлений».
- <sup>48</sup> П. 35, л. 161. Отн. к 1854 г.
- <sup>49</sup> П. 15, л. 73 об. Запись: 25-го Октября 1860 г.
- <sup>50</sup> П. 34, л. 4. Отн. к 1857 г. О политическом мирозерцании Од. см. П. Сакулин «Русская литература и социализм». М. 1924 г., ч. I-ая, стр. 438 — 446.
- <sup>51</sup> Ibid.
- <sup>52</sup> Бум. Од. П. 97. от 9 сентября 1862 г. Краевский пытался эти свои взгляды проводить в издававшейся под его редакцией с 1863 г. газете «Голос». Письмо напеч. в «Рус. Старине» 1904 г., июнь, стр. 587 — 588.
- <sup>53</sup> П. 29, л. 9 об. Запись от 8 декабря 1855 г.
- <sup>54</sup> П. 29, л. 9 об.
- <sup>55</sup> П. 16, л. 337 об.
- <sup>56</sup> П. 48, л. 131, отн. приб. к 1848 г.
- <sup>57</sup> П. 101, № 15, л. 168 — 169, 170 — 175.
- <sup>58</sup> Н. П. Колюпанов. Биогр. А. И. Кошелева. М. 1889 г. т. I-ый, стр. 75.
- <sup>59</sup> П. 16, л. 75 об., запись 1864 г.
- <sup>60</sup> См. Русская Старина 1902, кн. 1-я, см. также М. И. Сухомлинов. Исследования, т. II, стр. 338.
- <sup>61</sup> П. 15, л. 191 об.
- <sup>62</sup> П. 100, л. 39 авт.; коп. с проп. П. 21, тет. № 18, л. 18, 18 об.
- <sup>63</sup> П. 41, л. 94, отн. к 1855 г.
- <sup>64</sup> П. 32, л. 150 об. Лит. «Н» Русский Архив 1874 г., кн. II, стр. 48.
- <sup>65</sup> П. 32, л. 151. Рус. Архив Ibid.
- <sup>66</sup> См. статью Е. Некрасовой. Писатели для народа из интеллигенции. «Северный Вестник» 1892 г. Февраль № 2, стр. 155 — 182.
- <sup>67</sup> «Журнал общепользных сведений» за 1833 г. Кн. вторая.
- <sup>68</sup> О М. А. Максимовиче и его взаимоотношении с Од. см. ст. С. Паномарева в Журнале Мин. Нар. Просвещения ч. CLVII. Спб. 1871 г., стр. 179, 194.
- <sup>69</sup> «Киевская Старина» 1883 г., т. V, апрель, стр. 844.
- <sup>70</sup> См. ст. Е. Некрасовой. «Народные книги для чтения» «Северный Вестник» 1889 № 5, стр. 133 и далее.
- <sup>71</sup> См. L. Tieck «Sternbald» 141—142; Novalis «Ofterdingen», Т. II.
- <sup>72</sup> «Русские Ночи», изд. «Путь», стр. 10 — 12.
- <sup>73</sup> Соч. т. XI, стр. 180, 542.

<sup>74</sup> См. «Русский Архив» 1864 г., стр. 808 — 810. О взаимоотношении Одоевского с Грибоедовым см. П. Сакулин. Ibid. т. 1, ч. 1-я, стр. 246 — 249.

<sup>75</sup> Отдельное изд. Москва 1867 г., стр. 14 — 15. В Бум. Од. п. 77, л. 66 об., 67.

<sup>76</sup> П. 16, л. 370 об.

<sup>77</sup> П. 47, л. 47, отн. к 1857 г.

<sup>78</sup> См. п. 53 л. 62 — 63 и др.

<sup>79</sup> Об этой мистификации см. Сакулин. Ibid. т. 1, ч. 2-я, стр. 412 — 413.

<sup>80</sup> В Библиотеке Москов. Консерв. хранятся ноты Од. Здесь и ряд его оригинальных произведений и ряд записей: «Финская песня, подслушанная у рыбака в Ронгасе 22 июля 1861» и др.

<sup>81</sup> «Музыкальная Грамота для не-музыкантов». Москва 1863 г. Предисловие. Стр. 8. Бум. Од. п. 77, л. 109 об.

<sup>82</sup> О муз. деятельности Од. см. содержательную статью Вл. Иванова-Корсунского «Музыкальная деятельность князя В. Ф. Одоевского». «Муз. Летопись». Петроград. 1922 г. Сб. 1, стр. 108 — 154; его же: «Друг русской музыки кн. В. Ф. Одоевский». Ежег. Имп. Театров 1910 г. № 4. См. также Ф.[индейзен] Ник. Князь В. Ф. Одоевский. Рус. Муз. Биб. 1903 г. № 33-34. Большинство напечатанных статей Од. по вопросам музыки им собрано в п. 77. См. также бум. Од. в Моск. Консерватории №№ 515 — 519, 557, 558 и три незарег. переп.

<sup>83</sup> «Русские Ночи» изд. «Путь», стр. 9.

<sup>84</sup> М. Погодин. «В пам. о князе В. Ф. Од.», стр. 52.

<sup>85</sup> См. характерные для этой стороны деятельности Од. его бумаги в Пушкинском Доме Академии Наук (из собр. Дашкова).

<sup>86</sup> См. И. Кубасов. «Одоевский». Рус. Биогр. Словарь. 1905, стр. 125.

<sup>87</sup> П. 95. л. 74 с вын. на л. 73 об., 75.

<sup>88</sup> «Русские Ночи». Изд. «Путь», стр. 421 — 422.

<sup>89</sup> «Исторический вестник». 1880, т. 1, стр. 701.

<sup>90</sup> П. 41, л. 39, 39 об. Относ. к 1854 году.

<sup>91</sup> П. 101, № 4, л. 4 — 6.

<sup>92</sup> П. 48, л. 52 — 53 об.; относится к 1839 — 40 гг.

<sup>93</sup> П. 95, л. 38.

<sup>94</sup> П. 95, л. 42 — 53 авт. карандашем. Относ. к 1842 г. Написано в пути по возвращению из Германии, после свидания с Шеллингом. Приведено с некот. изменениями у П. Сакулина. Ibid., т. 1, ч. 1, стр. 458 — 460.

- <sup>95</sup> П. 54, л. 54.
- <sup>96</sup> П. 54, л. 74, 74 об.
- <sup>97</sup> П. 95, л. 33 — 36 авт.; л. 5 — 7 об. коп. с поправками Од.  
Относиться к 40-м годам.
- <sup>98</sup> П. 95, л. 15, 15 об. коп.
- <sup>99</sup> П. 95. л. 72.
- <sup>100</sup> П. 59, л. 72, 72 об.
- <sup>101</sup> «Русский Архив» 1874 г., кн. I, стр. 359.
- <sup>102</sup> П. 95 л. 27, 27 об. коп. с попр. Од. См. также п. 48 л. 124.
- <sup>103</sup> П. 55, л. 110, 110 об.
- <sup>104</sup> П. 53, л. 68.
- <sup>105</sup> П. 95, л. 26 коп., авт. п. 59 л. 34.
- <sup>106</sup> П. 95 л. 28. коп. Дата: 8 января 1848 г.
- <sup>107</sup> П. 32, л. 127. Лит. «И».
- <sup>108</sup> П. 95, л. 40, 40 об. авт., отн. [к 1852 г. Сны, связанные с арестом, судом и проч.; записаны: п. 48, л. 39 — 49, п. 32, л. 174 об., 175, п. 53, л. 103, — 108.
- <sup>109</sup> П. 48 л., 165. Отн. к 1838 г.
- <sup>110</sup> П. 48, л. 182.
- <sup>111</sup> П. 22, л. 93 об.
- <sup>112</sup> П. 55, л. 118.
- <sup>113</sup> П. 15, л. 73 об., октябрь 1860 г.
- <sup>114</sup> П. 100, л. 11 об. Отн. к 1848 г.
- <sup>115</sup> П. 100, л. 12.
- <sup>116</sup> П. 54, л. 28.
- <sup>117</sup> П. 35, л. 150. Отн. к 1850 г.г.
- <sup>118</sup> П. 92, л. 297.
- <sup>119</sup> П. 15, л. 75 об. Отн. к ноябрю 1860 г.
- <sup>120</sup> П. 16, л. 198 об.
- <sup>121</sup> П. 15 л. 159 об. Отн. к ноябрю 1861 г., т. е. ко времени ареста и заключения М. Л. Михайлова. См. В. Богучарский «Госуд. преступ. в России в XIX веке». Т. III-й. Спб. 1906 г. стр. 111.
- <sup>122</sup> П. 16 л. 109 об. Отн. к 1865 г.
- <sup>123</sup> П. 16, л. 91 об. Отн. к 1865 г.
- <sup>124</sup> П. 15, л. 41 об.
- <sup>125</sup> Ibid.
- <sup>126</sup> Биб. В. Ф. Од. в Московской Консерватории, № 179. л. 49. «Судебные Заметки». Относится к 1867-8 г. Заголовок: «Старые суды».
- <sup>127</sup> Ibid, л. 51.
- <sup>128</sup> П. 16, л. 140.
- <sup>129</sup> П. 16, л. 162. 31-го декабря 1865 года.

<sup>130</sup> П. 16, л. 238, декабрь 1866 г.

<sup>131</sup> П. 16, л. 210.

<sup>132</sup> П. 16, л. 286, июль 1867 г.

<sup>133</sup> П. 16, л. 287.

<sup>134</sup> П. 16, л. 281 об.

<sup>135</sup> П. 15, л. 282 об.

<sup>136</sup> П. 95, л. 37 авт., коп. л. 8. Повторяя эту же мысль в п. 100, л. 12, Од. прибавляет: — «без этой утешительной [мысли] жизнь была бы не выносима».

<sup>137</sup> Стихотворение: «Князю В. Ф. Одоевскому». Т. I-ый. Отдел третий, стр. 244.

<sup>138</sup> П. 97, Дата «4-го февраля 1858 г.». С изменениями напеч. Русский Архив 1864 г., стр. 847 — 849.

<sup>139</sup> Ф. И. Тютчев. Послание «Графине Ростопчиной». 16 октября 1855 г. Изд. под ред. П. В. Быкова Т-ва Маркс, стр. 183, прим. стр. 619.

<sup>140</sup> П. 35, л. 152, 153, с вын. на 152 об., 154 — 156. Запись была сделана в 1854 г. К ней Од. в 1861 г. сделал еще приписку. (л. 165 — 166).

<sup>141</sup> Впечатление Срезневского, быв. у Од. 1-го ноября 1839 г. См. «Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель». Спб. 1895 г., стр. 28.

<sup>142</sup> «И. С. Тургенев у себя, в последний приезд на родину». Из воспоминаний Я. П. Полонского. «Нива». 1884 год, № 4, гл. XVII, стр. 87.

<sup>143</sup> Печатается по тексту: С. А. Соболевский «Эпиграммы и экспромпты», под ред. В. В. Каллаша. М. 1912, стр. 37, прим. стр. 119. См. также «Русский Архив» 1888, кн. III, стр. 295. В биб. Моск. Консерв. «Музыкальные бумаги Одоевского» (Переп. не зарегистр.) с надписью на корешке: *Соріег-Висн*, находится эта эпиграмма — вариант (л. 5). Здесь же на л. 4 об. переложение для пения (дата 10-ое марта 1863 г.).

<sup>144</sup> П. 87 л. 63 и далее. Письмо от 3 января 1851 г. В описи Бум. Од. Рос. Пуб. Биб. на стр. 52 ошибка в датировании письма — 1854 г. См. также письмо в П. 95, л. 76 — 84, напис. между 1854 и 1855 г.г.

<sup>145</sup> Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. М. 1916, стр. 132 — 135. Это письмо сохранилось в черн. бум. Од. и ранее было опублик. в жур. «Русская Старина», № 8, 1904 г. Судя по пометке на письме, оно было отправлено к Некрасову через И. И. Панаева. Ответ Некрасова *Ibid.*, стр. 294 — 295.

<sup>146</sup> П. 15, л. 77 об., 78 об. Ноябрь 1860 г. «Будущность». («L'avenir») 1860, № 1, 15 сентября. Примечание (на стр. 6) к статье «Министр Ланской» (по поводу Ольги Степановны Ланской).



<sup>147</sup> В. А. Инсарский. «Общество посещения бедных» Русский Архив, 1869 г., ст. 1034 — 1035.

<sup>148</sup> См. п. 31, л. 225, и п. 89, л. 802. Об этом у П. Сакулина. Ibid Том I, ч. 2-я, стр. 299 (примеч.)

<sup>149</sup> «В память о князе В. Ф. Одоевском». М. Погодин, стр. 46.

<sup>150</sup> Одоевский в дневнике называет Соболевского, Лонгинова, Погодина, И. И. Маслова и Н. В. Путяту. П. 15, л. 205.

<sup>151</sup> М. Погодин. Ibid., стр. 59 — 60.

<sup>152</sup> П. 15, л. 204, об.

<sup>153</sup> П. 15, л. 170.

<sup>154</sup> «В память о кн. В. Ф. Одоевском» К. Победоносцев, стр. 80—81.

<sup>155</sup> См. Воспоминания Г. А. Лароша. М. Чайковский. «Жизнь П. И. Чайковского», т. 1., стр. 256 — 257, и эпигр. Соболевского, о московском салоне Од. в сб. «Эпиграммы и экспромпты» под ред. В. В. Каллаша, стр. 48, и прим. стр. 126.

<sup>156</sup> И. С. Тургенев. Собр. Сочинений, т. VIII, стр. 50 — 52.

<sup>157</sup> «Беседы в Общ. Любит. Рос. Словесности». 1867 г. Вып. 1-ый, стр. 67, 84.

<sup>158</sup> П. 31, л. 129 об., 130. Письмо к Нельсону (черновик). См. также запись в П. 16, л. 370.

<sup>159</sup> «Публичные лекции профессора Любимова». К. В. О. Москва, 1868, стр., 21 — 22.

<sup>160</sup> П. 16, л. 397.

<sup>161</sup> М. Чайковский. «Жизнь П. И. Чайковского», т. 1., стр. 254.

<sup>162</sup> П. 16, л. 401.

<sup>163</sup> М. Погодин. Ibid., стр. 66 — 67.

<sup>164</sup> Бум. бар. М. А. Корфа. Рукоп. Отд. Рос. Пуб. Библиотеки. Авт. по французски. Слова, написанные в подлиннике по-русски, у нас курсивом. См. так же «Русский Архив» 1878 г. кн. III, стр. 387.

Портрет В. Ф. Одоевского, приведенный в начале книги, относится к 60-м годам и воспроизведен по фотографии Музея Московской Консерватории.

\*

Ксилография работы Л. С. Хижинского на стр. 23 сделана по силуэту В. Ф. Одоевского из альбома А. П. Елагиной (снимок в собрании Пушкинского Дома Академии Наук СССР).